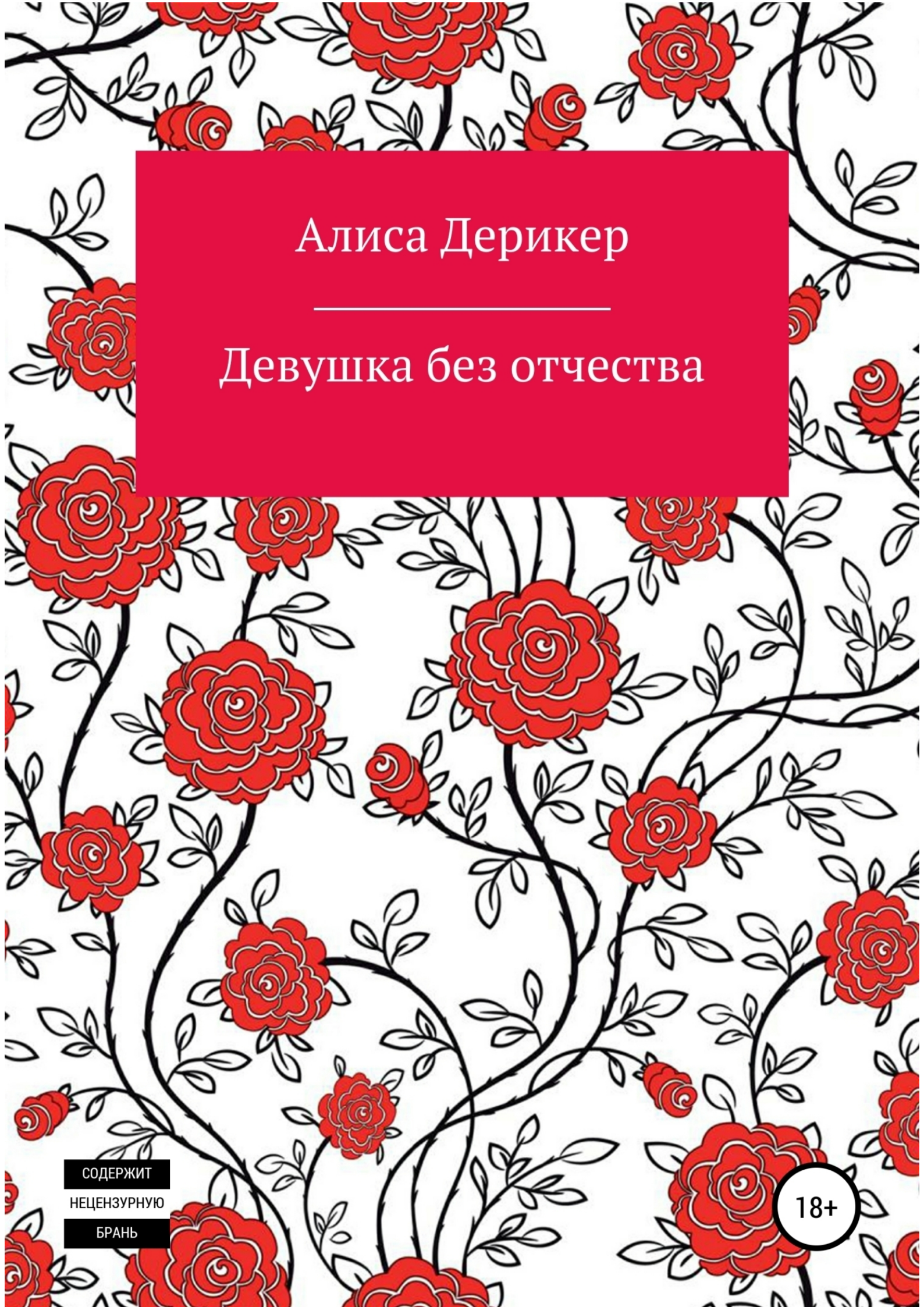




Алиса Дерикер

Девушка без отчества

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Алиса Дерикер
Девушка без отчества

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Дерикер А.

Девушка без отчества / А. Дерикер — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Я никогда не думала, что найти отца может быть так сложно. Честно говоря, я вообще о нём не думала: зачем, если его нет и никогда не было рядом? Да и что хорошего я могу о нём подумать, если он бросил маму, пока она была беременна? Разве порядочный человек мог бы так поступить? Мне раньше казалось, что легко судить людей по их поступкам. Но теперь я ищу человека, о котором почти ничего не знаю, и больше не думаю, что он был так плох, как я считала. А чтобы его найти, мне нужно перевернуть мамино прошлое. Содержит нецензурную брань.

© Дерикер А., 2020

© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

Глава 1. Телефонный разговор.	5
Глава 2. Похороны.	14
Глава 3. Дневник.	26
Глава 4. Телефонная книжка.	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Алиса Дерикер

Девушка без отчества

Глава 1. Телефонный разговор.

Меня зовут Вика Лебедева, мне восемнадцать лет (но в этом году уже будет девятнадцать!) и у меня нет отчества. Когда я знакоюсь с кем-то, я всегда вспоминаю тот фильм: «Бонд, Джеймс Бонд».

У большинства детей есть мама и папа, а у меня всегда была только мама, и это потому, что в свидетельстве о рождении вместо имени отца у меня стоит прочерк. Нет, это не совсем так, у меня был ещё отчим (впрочем, почему «был», он и есть, с ним ничего не случилось) – дядя Боря, они с мамой поженились, когда мне было года четыре, и развелись, когда мне исполнилось двенадцать.

В школе я говорила, что когда вырасту, стану Верой Борисовной, но мама сказала, что нет. Я спрашивала, почему у других детей из моего класса есть папы, а у меня отчим, я пыталась понять, в чём разница. И ещё почему у других детей, у которых нет ни папы, ни отчима, всё-таки есть отчество, а у меня отчества нет, но мама только отвечала: «так бывает».

Нет, снова не то. Мысли путаются, и мне сложно говорить. А всё потому, что моя мама вчера умерла. У неё была аневризма где-то в голове, это выяснилось не так давно. Началось с того, что у мамы стала сильно болеть голова, и она падала в обмороки, а потом вот выяснилось. Врачи говорили, что она может прожить ещё и год, и десять, но она прожила всего пять месяцев после того, как об этом узнала. Вчера она просто ушла на работу, как всегда, а потом мне позвонил дядя Боря и сказал, что мамы больше нет.

Это я потом узнала, что маме стало плохо, когда она пошла в туалет, и её нашла клиентка. Клиентка вызвала скорую, и позвонила дяде Боре, потому что оказалось, что это какая-то его знакомая. Маму увезли в больницу, и в больнице её не стало. Я до сих пор не могу в это поверить.

Я всё думаю, не связано ли это с тем звонком? Накануне вечером я услышала, как мама смеётся на кухне. Я поняла, что она разговаривает по телефону, но никак не могла понять с кем. Просто я никогда не слышала, чтобы она смеялась таким смехом. Не могу описать каким «таким» – красивым. Так не разговаривают с подругами, и тем более, с клиентами. И с бабушкой она не могла так смеяться – никогда она с ней так не говорила. Мама сразу мрачнела, когда бабушка начинала ей что-то выговаривать.

Я вошла на кухню когда она уже закончила разговор. Она что-то мурлыкала себе под нос, и я остановилась в дверях.

– Мам, кто звонил?

– Твой отец.

В этот момент мир перевернулся. Не то, чтобы я думала, будто он умер, или что-то такое, я думала, конечно, о нём, но думала как-то абстрактно: ведь он мог быть из другого города, например, или даже из другой страны, или его могло вообще не быть. Не в смысле не быть среди живых, мне сложно это сформулировать, это не про смерть. Его могло бы вообще не быть, в смысле – не быть как живого человека. Как человека в моей, ну, или в маминой жизни. Что-то вроде донора спермы: физически он как бы есть, но как личность – нет, как-то так. Одна клетка – это же не весь человек.

А оказалось, что он есть, он жив и даже живёт в Москве.

– Как его зовут?

– Олег.

– А фамилия?

– Смирнов.

И она о нём говорила. Она о нём говорила!

Я спрашивала у мамы об отце и раньше, но дядя Боря хмурился, и она замолкала. Или переводила тему. Или отвечала что-то очень расплывчатое, например, что «он желает нам счастья, но жить с нами не может» – как это, я не очень понимала, а потом и перестала стараться понять.

Мама никогда мне не рассказывала о нём: высокий он или нет, толстый или худой, любит он суп или картошку, где он живёт, кем работает – ничего такого. Вот почему, наверное, я не думала о нём, как о живом человеке.

– Получается, я должна была бы быть Викторией Олеговной Смирновой?

– Получается, да.

Я села. Нет, моя фамилия мне нравилась больше. На миг я даже подумала: хорошо, что я не Смирнова. Но у меня, оказывается, могла бы быть другая фамилия. И могло бы быть отчество. Вот это да.

На кухне горел только нижний свет: лампочка над столом и вытяжка над плитой. Но даже при таком освещении я видела, что делается с моей мамой. Она как-то вдруг помолодела, заулыбалась и будто сама светилась изнутри, как лампочка.

– Расскажи! – потребовала я.

Она села напротив, глубоко вдохнула и начала рассказывать.

– Мы познакомились, когда учились на четвёртом курсе, только учились в разных институтах. Мы встречались, где-то с год. Это, знаешь, были такие отношения, когда ты просто не думаешь о будущем, тебе хорошо – и всё. А потом я узнала, что беременна. Беременна тобой. Это был уже самый конец пятого курса, накануне выпускных экзаменов. Вот вроде самое время, чтобы пожениться, но, как ты выражаешься, что-то пошло не так.

Она улыбнулась. Почему она улыбнулась?

– А почему вы не поженились?

Мама вздохнула, тяжело так вздохнула. Она обычно так вздыхала, когда я не поняла про домашку, или нужно было объяснять мне математику.

– Он был из обеспеченной семьи, его родители работали на хорошей работе, и мама оказалась резко против нашего брака. Для меня это было неожиданностью. Я тогда как-то не думала, что она всё решит за всех, я-то думала, что это касается только нас двоих, понимаешь? У нас всё было серьёзно, мы говорили о будущем, но неопределённо так говорили: в будущем поженимся, мол, когда-нибудь, а когда конкретно и как – не обсуждали. А его мама, она изначально не рассчитывала, что Олег на мне может захотеть жениться, у неё другие планы были на его будущее, это я потом уже поняла.

– И его мама была против того, чтобы вы поженились?

– Да.

– А он?

– А он попытался занять нейтральную позицию и избежать выбора.

– Какого выбора?

– Вика! Ну, какого выбора? Жениться или нет.

Я ахнула.

– А дальше?

– А дальше я родила тебя.

– А он?

– А что он? Ты же знаешь, он никогда не навещал нас и не приезжал, – она снова тяжело вздохнула. – Я тогда ещё была очень молодая, самоуверенная, думала, что это нормальная практика – делать то, что считаешь нужным. Но...

Она замолчала. Я ждала. Что «но»? Это «но» повисло в воздухе как-то неопределённо, молчание было тягостным, и я не выдержала.

– Он так и не женился?

– Почему? – Удивилась она, – он тоже женился.

– А ты? – спрашивала я.

– А что я? Он был женат, я была замужем за Борей, мы не общались.

– Почему?

– Вика, господи, ну, что ты как маленькая: потому что у него была жена, а у меня муж.

Мы не могли общаться.

Я прикусила язык, но было всё равно непонятно: почему? Ведь у них же общий ребёнок – я. Почему бы двум воспитанным взрослым людям, имеющим общего ребёнка, не пообщаться? Разве им не о чем говорить?

– Ты сказала, у него родители были не простые. Это значит, богатые?

– Не то, чтобы прям богатые, но обеспеченные. И со связями.

– Что это значит – «со связями»?

– Вика! Ну, ты же не глупенькая маленькая девочка! Что ты такие вопросы задаёшь?

– Мам, а ты его любила?

Она улыбнулась так, что я поняла: любила.

– А он тебя?

– И он меня тоже.

Откуда она знает? Но если говорит так уверенно, значит, знает?

– Тогда я не понимаю, почему ты за него замуж всё-таки не вышла.

– Потому что он и не звал.

– Как это так? Я не понимаю. Ты его любила, он тебя тоже, почему вы тогда не поженились?

Вместо ответа она снова стала рассказывать про пятый курс, про непростых родителей, про злую маму, про конец девяностых, про двухтысячные. Я ничего не поняла, но старалась внимательно слушать. Разве же так бывает, чтобы люди друг друга любили и не поженились? Единственное, что я чётко запомнила: обстоятельства. Были такие обстоятельства, что ничего не вышло. Меня это объяснение не удовлетворило, но другого не было. Тогда я стала спрашивать про папу: какой он? Мы сидели с ней до часу ночи, пили чай, я задавала вопросы, а она отвечала. Она впервые рассказывала мне о нём.

– Постой, – перебивала я, – а глаза? Глаза?

У мамы глаза были карие, а у меня голубые. У бабушки глаза тоже были карие, но у дедушки – серо-голубые. Я помню, на уроке биологии, когда мы проходили Менделя с его горошком, я всё высчитывала, какова вероятность того, что я бы родилась кареглазой, будь папа с карими глазами. А с голубыми? Получалось, что вероятность рождения голубоглазой меня сильно увеличивалась при голубоглазом папе. Оказалось, я мыслила верно.

– Папины глаза у тебя, – улыбнулась мама, – папины.

– А что ещё у меня папино?

Она смотрела на меня и улыбалась. Мама у меня была очень красивая, и улыбка ей шла. Жаль только, что улыбалась она не очень часто. Она бы не была манекенщицей, но могла бы быть, например, актрисой, как Мерлин Монро, например. Эх, мама, мама, как ты могла меня оставить?

– Мам, а почему он позвонил именно сейчас? Что он хотел?

– У него крупные изменения в жизни. Он долго болел, теперь вылечился. Да и не только это, – она махнула рукой, а по губам всё блуждала улыбка, – встретится он хочет.

– Со мной? – снова ахнула я.

– И с тобой тоже.

– А чем болел? Рак?

– Нет, почему сразу рак? Травма была очень серьёзная. Несколько лет восстанавливался.

– Он что, спортсмен?

– Ну, вроде того.

– Мам, а расскажи, как вы познакомились? Только не так, а подробно.

Она посмотрела в свою чашку с остывшим чаем, потом прикрыла глаза, и начала рассказывать. Знакомились они аж дважды: сначала на дискотеке, а потом на дне рождения у какого-то общего друга.

– И вот, – рассказывала мне мама с блестящими в сумраке глазами, – представь себе: высокий, спортивный, красивый, голубоглазый, и подходит ко мне. А темно же на дискотеке, ничего не видно, я ему руки на плечи кладу, а у него плечи – во! Руки – во! Шкаф!

Я рассмеялась. Мама очень эмоционально всё это описывала.

– Ну, проводил, всё, говорю, дальше я сама. А он: дай мне свой телефончик. Я ему – ну, пиши. А он мне – я запомню! Гордый такой, самоуверенный, мол, память как у слона – диктуй. Ну, я продиктовала, он покивал, я, говорит, те позвоню. Ага. И пропал.

Я ахнула.

– А почему же ты его номер не записала?

– А чем? На дискотеку же с собой ручку с тетрадкой брать не будешь – вещи надо где-то оставлять. Если компанией ходили – клали сумки в круг и танцевали, а когда одна идёшь – как? Или по карманам распахать, но тогда топорщится всё будет и выпасть может, или с маленькой сумочкой идти, а в неё почти ничего, кроме помады, и не влезает. И придерживаешь её, эту барсетку, чтобы ключи и проездной не вытащили.

– Клатч! Мама, маленькая сумочка – это клатч, не барсетка, – смеялась я.

– Сама ты – клатч! Клатч – это без ремешка, а мы там чуть ли не скотчем к себе прима- тывали её, лишь бы ничего не выпало и не отобрали на улице.

– Подожди, ну телефоны же у вас были?

– Стационарные, – засмеялась мама, – городские телефоны, как у бабушки, как у дяди Бори, помнишь? Не было сотовых тогда ещё, не было!

– Как не было? – изумилась я.

То есть я знала, что было такое время, когда не было ещё смартфонов. А до него было время, когда мобильных телефонов вообще не было, и я даже знала, что мама в такое время жила. Но мне казалось, это было, когда она была совсем маленькая...

Трудно представить себе жизнь без телефона – это же всё равно, что без трусов ходить: дикость какая-то, нужно будет тебе позвонить предупредить, что опаздываешь, или дорогу посмотреть, или узнать, когда автобус придёт, или сколько поездок на проездном осталось, да мало ли что нужно – и как?

– Вот так вот и не было, – смеялась мама, – представляешь, как люди жили?

– Как в каменном веке.

А она сидела и улыбалась. Я не могла себе даже представить, что вижу её улыбку в последний раз. Вот такая вот у меня была мама – красивая, смешливая и какая-то лёгкая. В смысле, она по жизни так шла – легко. Трясла своими шикарными волосами, отбрасывала их с лица, шла вперёд и смеялась. А я тогда даже не думала, что очень скоро её не станет.

– Ну, я сижу жду, – продолжала мама, – а звонка всё нет и нет. Неделя прошла, думаю, ну всё – уже не позвонит. В окно выглядываю – не стоит у подъезда? Не стоит. А у нас же дома там однотипные, думаю, может дом перепутал?

Я кивнула. Там действительно стоят три пятиэтажки подряд и одна из них бабушкина, перепутать очень легко, особенно, если видел эти дома один раз ночью.

– Расстроилась, конечно, но что поделаешь. Как его искать? Фамилии не знаю, ВУЗа не знаю, факультета не знаю – где его искать? Ну, и потом, мало ли, может, он просто взял и пере-

думал, всякое же бывает. Неделя прошла, я пошла на день рождения к приятелю, к Славику, славный парень был, – она улыбнулась каламбуру. – Друг парня нашей одногруппницы, вот так. Я пошла, и представляешь, встречаю на этом дне рождения ЕГО! Судьба, думаю я: такое совпадение. Ну как это ещё объяснить? Выяснилось, он, конечно, не запомнил мой номер, приезжал к домам, хотел на асфальте написать мне, а там метель началась. Тоже думал, как меня искать, ничего не придумал, и тут вдруг такой случай.

– А он знал, что ты там будешь, на дне рождения этого друга?

– Конечно, нет! Это была чистая случайность.

– И вы начали встречаться?

Мама кивнула.

– Теперь уже обменялись номерами, как цивилизованные люди. Он меня в кино пригласил, потом мы гулять пошли, потом ещё что-то, опять же – друзья общие. И завертелось.

– И ты сразу поняла, что ты его любишь?

Она снова засмеялась.

– Нет, конечно, не сразу. Мы встречались с год, наверное, может чуть больше. Мне тогда не казалось, что это какая-то, знаешь, особая любовь на всю жизнь, или там как. Просто мы встречались и встречались, нам было вместе очень хорошо.

– Но ты же говорила, вы хотели пожениться?

– Ну, не совсем. Мы говорили о том, чтобы пожениться, но говорить и жениться – это разные вещи, понимаешь?

– Понимаю.

Я всё пыталась представить себе их: вот они, молодые, смеющиеся. Моя мама – красивая, в белом платье с развевающейся фатой, а папа, он какой? Сильный и мощный, как скала, широкоплечий, закрывающий её от всех невзгод.

– Мы не строили планов, в смысле: через два месяца идём подавать заявление в ЗАГС, через месяц начинаем искать съёмную квартиру, нет, всё было не так. Скорее, мы просто мечтали. Мечтали вслух, вроде как когда говорят «вот когда мы поженемся...», – и мама картинно закатила глаза. – Только вот его родителей в расчёт не приняли. Тогда казалось, все эти социальные слои – это такие условности, а оказывается, знаешь, нет, не условности вовсе.

Она зевнула, посмотрела на часы.

– Всё, Викчка, – она часто так меня называла: Викчка, без гласных.

– Всё, солнце моё, креветочка моя, пора спать. Время позднее, тебе завтра в институт, мне – на работу. Давай ты первая в ванную.

Я послушно отправилась в ванную и всё равно не могла понять, почему она мне ничего не рассказывала раньше?

Я бы хотела отмотать время назад и поставить на паузу. Пусть мы с ней вот так вот вечно будем сидеть на кухне. За окном ночь, а мы сидим и смеёмся. С мамой вдвоём.

Ведь не будет больше таких посиделок, никогда не будет. Не будет вечеров за чаем и разговорами, не будет вообще ничего. Это был наш последний разговор.

Может быть, и он сыграл свою роль. Врачи говорили, маме важно не переутомляться и хорошо спать, тогда у неё не будет болеть голова. А мы нарушили весь режим и сидели с ней полночи на кухне, а с утра мама выпила двойную дозу кофе, чтобы проснуться.

А я не могу теперь отделаться от ощущения, что это наше ночное бдение её добило. Может быть, это эффект последней капли. Той, что ломает хребет верблюду. Может быть, это даже я со своими расспросами доконала её....

После того, как мне позвонил дядя Боря, я набрала бабушкин номер. Я была абсолютно спокойна, потому что на тот момент ещё не верила, что всё это правда. Конечно, нет. Этого не может быть. Я была уверена, что это шутка такая глупая, может, не дядь Борина, может,

врача какого-нибудь. А, может, просто в больнице что-то напутали, такое же бывает? Умер один человек, а звонят родственникам другого. Так ведь бывает, правда же?

Такого просто не могло быть, чтобы умерла моя мама. Умер кто-то другой. Чья-то другая, чужая женщина могла умереть, а моя мама – нет.

Я думала, что сейчас позвоню бабушке, и она скажет мне, что всё в порядке. Скажет, например, что она разговаривала с мамой минут пять назад, и та жива и здорова, просто опять упала в обморок на работе. Но бабушка сняла трубку и зарыдала. И вот тут-то я и поняла, что это всё всерьёз. Меня начало бомбить.

Я сказала «скоро приду» и отбила звонок. Руки затряслись, губы задрожали, а в голове было только одно слово: «нет». Просто «нет» и всё. Я повторяла его про себя, как заклинание: нет нет нет нет нет нет нет... Бесконечное количество раз.

Я заметалась по квартире, зачем-то побежала в мамину комнату, потом в ванную, руки тряслись, я ничего не соображала, только металась туда-сюда, не зная, что мне делать. Потом сообразила, что надо одеться и пойти к бабушке.

Когда я пришла, бабушка мне всё и рассказала: и про кафель, и про клиентку, которая вызвала скорую. Оказывается, дядя Боря уже ездил в больницу, и ему там всё подтвердили, и он уже договаривается об отпевании. Отпевании! Да я только что была в её комнате, там сохранился запах её духов – такой материальный, осязаемый, живой. Она просто не могла умереть, этого не может быть, это невозможно, какое отпевание, зачем?!

У меня в голове всё это крутилось, а бабушка говорила, что ещё надо обзвонить всех маминых друзей, а у мамино телефона, разбит экран, и она не знает кому звонить.

Что нужны деньги, а у неё пенсия, как на зло, только через две недели, да и сколько той пенсии – всё равно занимать придётся. И что-то ещё про одежду, я даже не слушала. Слова текли как-то мимо сознания, я слышала их, но не воспринимала. Мы просто сидели с бабушкой вдвоём и обе плакали, а бабушка при этом ещё и говорила. Ну, как радио, которое что-то бубнит фоном.

Потом бабушка кипятила чай, вздыхая, а я икала. Икала и думала, разве такое возможно? Разве так бывает, чтобы раз – и не стало мамы? Это разве нормально?

Потом пришло чувство вины за ночь, за тот разговор, а потом я вспомнила, почему мы собственно не легли спать. Вот кто во всём виноват. Он что, не мог найти другого времени, чтобы позвонить? Его не было восемнадцать лет, а теперь он объявился! Зачем было трезвонить на ночь глядя? Умом-то я понимала, что всё это просто совпадение, но ведь если есть кто-то виноватый, оно всё как будто проще становится...

Папа. Конечно, он не виноват в маминой смерти. Но ведь он для чего-то позвонил? Встретиться? Общаться? А ведь где-то был все эти годы. А какой он? Я его себе вообще никак не представляла: в голове был мужской силуэт, заполненный дымом. Мистер Тьма.

А что я чувствую? Я не знала. Точно: папа – это не то же самое, что мама. И не такие чувства, как к бабушке, дедушке или дяде Боре. Что-то другое, незнакомое. Он вроде бы и был близким, но в то же самое время – дальний. Да, наверное, именно как дальний родственник: он должен быть родным, но он мне совсем незнакомый человек, я его не знаю.

Просто тёмное пятно вместо человека. Он добрый? Наверное, не очень, раз оставил маму беременной мною. Наверное, он грубый и чёрствый? Почему-то мне так не казалось. Очень уж ярко у мамы светились глаза. Он должен быть особенным, мой папа. Хотя бы потому, что он мой. Мой – и больше ничей. Мой папа.

Эти мысли немного успокаивали. Я перестала судорожно вздыхать, но грудь всё равно дёргалась без моего желания, и это тоже было неприятно: почему в моей жизни случаются вещи, которых я не хочу? Я не хочу, чтобы мама умирала, так почему она умерла? Я не хочу. Я этого не хочу. Я хочу перестать икать, но не могу. Почему я не контролирую свою жизнь или хотя бы своё тело? Я не хочу плакать и не хочу икать. И тем не менее, я сижу, рыдаю и икаю...

Вот мама свою жизнь контролировала. Ну, до этого момента. Как она могла позволить себе умереть сейчас, когда она ещё так нужна мне? С мамой всегда было ощущение, что всё наладится и будет хорошо, она как-то умела внушать уверенность. Это что же получается тогда, она меня обманула?

А папа? Я снова гадала, какой он. Он контролирует свою жизнь? Он уверенный? Богатый? Может быть, он живёт совсем не так, как мы? Может быть, у него есть вилла и большая квартира на Арбате. Может же быть такое? Может, он теперь заберёт меня к себе? Станет заботиться обо мне, вместо мамы. Это было бы хорошо, но вряд ли возможно, если он женат. Мама же вроде говорила, что он женат? А если разведён? Ну, или я хотя бы буду приезжать на его виллу на каникулы. Если, конечно, она у него есть...

Мама говорила, он занимается спортом? Не совсем, сказала она. Как это – не совсем? Спортом, но не спортом? Может, каскадёр? Или акробат? В цирке что ли? Да нет! Нет! Мой папа не может работать в цирке. А где тогда? Какие ещё профессии связаны со спортом и травмами? Мотогонщик? Тренер по единоборствам? Телохранитель?

А вдруг он хромает после травмы? Или картавит? Или косит левым глазом? Или у него и глаза-то нет? Какая чушь! Интересно, а он носит очки?

А он пьёт кофе или чай? А если он пьёт? Точно. Вдруг мама мне ничего о нём не говорила именно потому, что он медленно спивался? А теперь вот завязал, прошёл лечение в клинике, выписался, и поэтому хочет встретиться. Может, тогда мне не надо с ним встречаться?

Или, может, он работает где-то далеко? Или в ФСБ. Точно! Как же я раньше не догадалась?! Именно поэтому она мне ничего о нём и не говорила – нельзя же! У них же там везде военная тайна, всё скрывается, чтобы не знал никто. И травма вполне могла быть именно на боевом задании. Может, в него даже стреляли! Вот это да... Мой папа – разведчик?!

У меня перехватило дух так, что я даже перестала икать.

– Ты чё это? – с испугом в голосе спросила бабушка. – Сидишь, как аршином подавилась. Ну-ка отомри!

– Ба, а расскажи мне про папу!

– А нечего рассказывать, я не знаю о нём ничего.

– Он феэсбешник?

– Нет, конечно! Какой ещё феэсбешник? Скажешь тоже, – фыркнула она.

– А кто?

– А я почём знаю?

Но меня это не убедило. Если папа разведчик, конечно же, об этом никто не должен знать! Какой же он тогда разведчик, если все будут в курсе? Может быть, его даже в стране долгое время не было, а мама не знала, жив ли он и поэтому ничего мне не рассказывала. Картинка вроде бы вырисовывалась, как говорила мама, стройная такая, но я почему-то чувствовала, что всё совсем не так и уже заранее расстраивалась. А жаль. Такая была красивая версия.

Чайник закипел, и бабушка принялась заваривать чай с травами. По всей кухне пошёл морозный запах мяты.

– Он бросил маму? – спросила я.

– Бросил, гад. Слов у меня нету. Подонок, да и только, прости меня господи, – голос дрогнул, и она перекрестилась, глядя куда-то вверх.

Интересное дельце, подумала я маминым голосом, при мне оскорбляет моего отца, а прощения просит у бога.

– А мама? – продолжила допрос я.

– Шалашовка, – выплюнула бабушка.

– Не смей так говорить! – взвизгнула я.

– Дура, – это уже было в мой адрес.

И я снова заплакала. На этот раз уже от обиды и бессилия. Я знала, что бабушка не хотела никого обидеть, просто она была такая – не стеснялась сказать вслух то, что думает, а думала она иногда плохо. И ей было до фени, обидают её слова кого-то или нет.

И ещё это было грубо и несправедливо. Я не могла объяснить, почему несправедливо, просто чувствовала, что это неправильно.

Мы попили с ней чая, поплакали ещё, но разговор на том и кончился. Оставаться дольше у бабушки не хотелось. Хотелось побыть одной, чтобы никто не трогал, не говорил мне, что надо делать, что чувствовать и как теперь быть дальше

Когда я вернулась домой, уже смеркалось. В квартире было непривычно тихо. Я разделась, помыла руки и зачем-то пошла в кухню. Включила свет и стояла на пороге, смотрела, не зная, зачем я вообще сюда зашла. Кремовый абажур, кухонный гарнитур светлого дерева; плита, на ней мамина любимая турка, в которой она по утрам варила кофе; моя грязная чашка в раковине – я опять забыла помыть; стол, тот самый стол, за которым мы сидели с мамой. Что мне тут делать?

Тогда я пошла в мамину комнату. Дверь была закрыта, и в первый момент мне даже хотелось постучаться. Я остановилась и прислушалась. А вдруг я сейчас открою дверь, а там мама? Сидит в своём кресле. Или переодевается. Или уже спит. Закрыла шторы, потому что у неё снова разболелась голова, и уснула. Нет, шторы открыты, это я через стёкла в двери вижу. Если бы мама была дома, она бы точно закрыла шторы. Я сделала глубокий вдох и толкнула дверь.

В комнате было пусто. Мамы, конечно, не было. Кровать застелена, шторы отдернуты, ничего нигде не валяется – у мамы всегда всё лежит на своих местах, она любит порядок. Любила. Чёрт, как же бомбит с этого прошедшего времени...

Я вошла и села на её кровать. Кровать из Икеи с кованой такой спинкой. Мы её покупали вместе с моим письменным столом. Серое с тёмно-синим покрывало. Рядом с кроватью торшер, а с другой стороны тумбочка. Под торшером мамино любимое кресло, тоже тёмно-синее, тоже из Икеи. Около кресла – антикварный столик, столешница инкрустирована перламутром. Мама его очень любила, этот столик, хотя я совершенно не помнила, когда и как она его покупала. Откуда он у неё взялся? Кажется, подарок на день рождения. Мама говорила, нужно дарить самой себе подарки. Кажется, это какая-то психологическая штучка. А столик очень красивый. И в интерьер вписывается.

Книжные шкафы. У мамы очень много книг. Тут книги по психологии, какие-то справочники по медицине, энциклопедии, словари – книги на все случаи жизни. Что мне теперь с ними со всеми делать? Так и оставить?

Ей нравился минимализм. Ничего лишнего, говорила она, так легче думается. Когда человек погребён под кучей предметов, теряется самое главное. А что главное? Главное – это чтобы ты, мама, была жива. Главное, чтобы ты была жива, повторяла я про себя как мантру.

Неужели ты больше не вернёшься в эту комнату? А как же твоя кухня? Что мне делать с твоими туфлями в прихожей? Я споткнулась о них, но не могу же я их взять и убрать. А ты ведь даже не скажешь мне, что с ними делать. Ты не скажешь мне, что я грязнуля, и что пора вытирать пыль. Не скажешь «пора спать, завтра в институт», не скажешь «купи молока», ничего не скажешь. Мама, а кто же тогда будет спать на этой постели? Кто будет читать все эти книги, а мама? Кто?

До жути не хотелось оставаться одной. Я бы пошла ночевать к бабушке, но глядя на неё, постоянно хотелось плакать. Да и потом, там, в бывшей маминой комнате было ничуть не меньше её вещей, чем здесь.

Если бы у меня были подруги, я бы позвала кого-то из них, но Даша с семьёй переехали в Подмоскovie, а в институте я ещё подругами не обзавелась. Одно время мы с Дашей созда-

нивались, а потом как-то она мне пообещала перезвонить и не перезвонила. Я обиделась, а когда перестала обижаться, был уже Новый год. Я написала ей, она мне ответила, и на этом вся переписка кончилась. Звонить ей сейчас было и глупо, и страшно: если она сама мне не звонила всё это время, что я буду?

Настроение было такое, как когда говорят «хочется напиться». Теперь я понимала, что это такое. Вообще, я практически не пью – вредно, да и я плохо переношу алкоголь. Но вот сейчас хотелось именно забыться, хотелось, чтобы мозг отключился, и мне перестало быть так больно.

Так ведь не бывает. Так не должно быть. Мама, ты не можешь умереть сейчас, ещё слишком рано. Ты не можешь. Не можешь умереть. Ты просто не имеешь права. Почему ты мне с утра ничего не сказала??? Как же это так, я тут, а ты – нет. Где ты, мама, где?

Взгляд мой упал на кресло, на кресле лежал сложенный плед в белую, синюю и зелёную клетку. Маме его бабушка на какой-то Новый год дарила. Я встала и забрала этот плед с собой. Был соблазн лечь спать прямо тут, в маминей кровати, нюхать её подушку, накрыться с головой её одеялом, но я побоялась. Сама не знаю чего, но это было всё равно как залезть в чужой огород, в чужой шкаф, в чужой телефон, в чужую тарелку. Поэтому я просто забрала её плед и пошла к себе в комнату.

В квартире было ужасно тихо. Непривычно тихо. Тихо и пусто.

Глава 2. Похороны.

Я почему-то думала, что похороны – это обязательно в дождь. Плачешь ты – и вместе с тобой плачет природа, как-то так. Да, я знаю, это глупо и очень по-детски. Штамп. Раз похороны, значит, осень и дождь. И лучше всего в ноябре, чтобы голые деревья, облетевшая и уже подгнившая листва с запахом тлена, и стаи каркающего воронья. Такое вот шаблонное у меня мышление.

Но маму хоронили в марте. Грязная московская зима почти закончилась. Кто бы мог подумать, что весной люди тоже умирают: природа же пробуждается.

Серо-коричневый свалившийся снег незаметно растаял: никаких тебе ручьёв с кораблями, как в букваре, ни луж, ни даже тающих сосулек. Просто однажды раз – и исчез. Как человек: был, и нету.

День обещал быть ясным. Я проснулась я за час до будильника и лежала в тишине, ожидая рассвета. За окном чирикали птицы. Я боялась встать, чтобы не разбудить маму. Смешно. Почему-то казалось, что мама спит в соседней комнате. Когда наконец-то рассвело, я встала, отключила будильник и на цыпочках пошла в ванную. В ванной висели мамин халат и мамино полотенце. В стакане стояла её зубная щетка. Я зачем-то потрогала щетину: она была сухая.

Сегодня мог бы быть обычный четверг. Я бы встала, крикнула «Мам, я только чай», собралась бы и побежала на свой английский, но нет. Английский сегодня тоже будет, конечно, но без меня. И чай, наверное, тоже будет, но уже без мамы. Всё это было дико, страшно и исковеркано, будто в страшном сне. Это было невозможно себе даже представить: чтобы я ехала хоронить маму.

Я почистила зубы, выпила воды и стала одеваться: чёрные брюки и чёрный свитер. Куртка у меня красная, но зато есть пальто. Пальто тёмно-синее, я решила, что сойдёт. Темнее всё равно нету. Шапка. А шапки только светлые. Белая и жёлтая. Я подумала и взяла белую. Потом уберу её в сумку, если что. Честно говоря, я не знала, как надо выглядеть и как вести себя на похоронах. Дедушка умер, когда я была ещё совсем маленькая, а больше как-то и повода не было.

Ну, ещё, я помню, у мамы умер какой-то друг или подруга, но меня, конечно, она с собой не взяла. Я только запомнила, что глаза лучше не красить и в сумку положить не одну пачку платков, а две. Так я и сделала.

Мне сказали быть у бабушкиного подъезда в семь. Бабушка у нас живёт через два дома, и я подошла к её подъезду уже без пятнадцати семь.

Бабушку я увидела издали, она стояла прямая, как палка, вся в чёрном. Были в средневековые такие врачи-демиурги в шляпах, очках, длинных чёрных балахонах и в масках с птичьим клювом. Вот мне почему-то вспомнилась сейчас такая птица-человек.

Выглядела бабушка плохо. В какой-нибудь книжке бы написали «бледная и осунувшаяся» или «с ввалившимися заплаканными глазами», но я была слишком на взводе, чтобы замечать такие вещи. Я просто увидела, что она выглядит плохо, а сказать в чём конкретно это выражается, наверное, я бы не смогла.

Я только заметила, что бабушка плотно сжимает губы. Обычно она так выражала своё неудовольствие. Я встала рядом, и мы стояли молча, каждая думала о чём-то своём. Она только процедила мне сквозь зубы: «одень шапку».

В этих двух словах, мне кажется, была вся моя бабушка. Одень шапку. Её угораздило родиться в деревне где-то недалеко от Рязани. Родилась она уже после войны, а в Москву семья перебралась, кажется, в пятьдесят пятом. Высшего образования у бабушки не было и слова «одень» и «надень» для неё были абсолютными синонимами.

А вторая причина, по которой я подумала, что моя бабушка вся – это «одень шапку», это то, что она всегда была из таких матерей-наседок. Но скорее не курица-клуба, а гусыня, которая при необходимости и щипнуть может. Как-то уже в старших классах я додумалась приехать к бабушке в чиносах и кедах со спортивными носками. Когда бабушка увидела мои лодыжки, она схватилась за сердце. Октябрь месяц, деточка, что же ты делаешь, простудишься! Ещё раз увижу – уши надеру, чтобы этого больше не было! Бабушкина забота всегда была немного агрессивна.

А ещё у бабушки была любимая фраза-пугалочка: «замуж никто не возьмёт». Ты чего ешь так мало? Худая будешь, одни рёбра – замуж никто не возьмёт. Что за куртка такая, попа торчит вся? На улице минус, будешь болеть постоянно – кто тебя замуж-то такую слабенькую возьмёт?

Объяснить бабушке, что в современном мире вовсе необязательно выходить замуж, чтобы быть счастливой или успешной, я не могла. И что здоровье никак не связано с замужеством – тоже. Это, может, в деревне надо быть ездовой лошадей, чтобы огород пахать, а тут – цивилизация. Да даже ребёнка можно при желании родить без мужа – моя мама тому пример.

Удивительно, кстати, мама была совсем не была похожа на бабушку. Ну, кроме внешности, наверное. И то, бабушка шире в костях и как-то плотнее.

В детстве мне нравилось приезжать к бабушке в гости, потому что у неё всегда уютно пахло блинами, и было много варенья разного на выбор: смородиновое, яблочное, вишневое, и из крыжовника...

Бабушка пекла пирожки и сама лепила пельмени и вареники с разными ягодами. Она вздыхала, что тут, в магазине, не купить нормального творога или сметаны. Творог ей всегда откуда-то привозили – или соседка по даче, или передавала Зоя, оставшаяся «на земле» – она вышла замуж и отказалась ехать в город. Удивительно, но, не смотря на любовь к сметане и творогу, бабушку нельзя было назвать толстой. Она всегда была крепкой: сильные руки, выносливая спина, и вся она какая-то очень материальная, плотная, земная. Как женщины, в скульптуре советского времени, но при этом без лишнего веса. Порода такая, говорила сама о себе бабушка.

И в моей голове это всё каким-то естественным и логичным образом было связано: и её мощные руки, и запах блинов, которые, как и пельмени, ели только с настоящей сметаной, и то, что нужно было обязательно носить шапку – всё это и укладывалось в эти два слова.

Бабушка была третьим ребёнком в семье, а всего их было пятеро. Старшая сестра, баба Зоя, уже умерла, умер и брат. У бабушки остались две младшие сестры. Я была уверена, что они со своими детьми приедут на похороны, мама мало, но всё же общалась с двоюродными сёстрами. Как говорится, родственники – это люди, которые собираются время от времени по поводу изменения их количества. В данном случае, у нас минус один.

– Ба, а бабВера и бабВаля приедут?

– Уже.

– А где они?

– Дома остались, на хозяйстве.

– А почему они с нами не поедут?

– К церкви приедут, их Вадим забёрёт.

Вадим был старший сын бабВеры, и уже хотела было спросить об остальных, но бабушка словно прочитала мои мысли.

– Димка с Танькой не придут. Димка в отпуске, а Танька в больнице – третьего рождает. Нюрка приедет после двух, Петька к трём.

Я замолчала. С мамиными двоюродными братьями и сестрами и их детьми (кем интересно, они мне приходится?) я общалась мало. Мне, честно говоря, было не горячо и не холодно, что они не приедут. А вот мама бы расстроилась. Почему? – загадка.

Неожиданно мне вспоминалось, как мы с бабушкой играли в загадки. У меня в детстве была красная книжечка со стихами и загадками, которые мне очень нравились. Мне нравилось чувствовать себя умной, разгадывая всяческие ребусы, находить отличия и правильно отвечать на вопросы. И вот как-то я пристала к бабушке, а книжка, как на зло, куда-то подевалась, и бабушка начала придумывать мне загадки сама. Ну, я тогда думала, что это она их сама придумывает.

Она спросила меня, что такое – длинное, зелёное и пахнет колбасой. Я не знала. Она сказала, это электричка. И рассказала, как они ездили из Рязани в Москву за продуктами. В деревне у них было своё хозяйство: куры, гуси, козы, свиньи, кажется, даже корова была одно время – я уже не помню. Масло, правда, сами не взбивали, но маслобойка тоже имелась, валялась на чердаке. Или в сарае. Не знаю, где она у них валялась, но точно валялась, бабушка её ступой бабы Яги в детстве называла.

Огород ещё был. Кормились тем, что сами выращивали. Меняли много по соседям. А вот сахар, крупы, масло – это всё покупали.

Обычно за продуктами ездила мать с кем-то из старших детей: Зойкой или Ванькой. Но один раз Ваньки не было, то ли убежал гулять и забыл, то ли ещё что, а младшенькая – Валя у них сильно заболела, и мать оставила за старшую Зойку, чтобы та присматривала и лекарство дала, если что. А бабушку мою взяла с собой.

Бабушке было тогда, наверное, лет восемь или, может, девять. Как она была рада, что её взяли в Москву! Она вспоминала эту поездку с восторгом в глазах: в электричке не протолкнуться, все ругаются, в тамбуре накурено, у кого в корзинках куры кудахчут, у кого котята мяукают, а у одного деда петух всю дорогу кукарекал. Кто-то угостил её яблоком, и она хрустела им в полном восторге от происходящего.

А на обратной дороге в их вагоне кто-то всю дорогу брел на гитаре романсы. Желтая акация, белая сирень и что-то ещё такое же садоводно-лирическое. Бабушка пыталась напеть, но я не узнала ни одной песни. Я спросила, чем ей нравится этот романс про сирень, а она ответила «простотой».

В этой простоте тоже была вся моя бабушка: она никогда не любила изысков. Классическая музыка с непременно оркестром была для неё слишком сложной; длинные книги, которые читала мама – чересчур заумными; современные фильмы бабушка на дух не переносила, потому что никогда не успевала за сюжетом. Ей нравилось что-то простое и незамысловатое. Понятное.

Вот поэтому она и не любила, когда ей пытались объяснить чем «одеть» отличается от «надеть». И мамину психологию она тоже не переваривала, хотя в тайне, я думаю, очень гордилась мамой. Ведь мама выросла такой умной.

– Жарко будет. Не угадала я с погодой.

Бабушка расстегнулась, я тоже. Небо было чистое, а солнце тёплое. Как это странно: мы вроде на похороны собрались, а тут солнце. Ну, не издевательство ли?

Без пяти семь приехал дядя Боря. Выглядел он тоже неважно: так, будто ночевал в машине на заднем сиденье. Он быстро закинул в багажник бабушкины сумки, и нервно курил, пока мы садились.

Бабушка дяде Боре всегда симпатизировала. Я никогда не понимала, почему. Она говорила, что он напоминает ей Гошу из старого фильма «Москва слезам не верит». Я специально посмотрела фильм, но сходства никакого не обнаружила. Объяснила себе бабушкину симпатию тем, что они оба, как выражалась бабушка, «люди из народа». Но, кроме отсутствия выс-

шего образования и каких-то дальних родственников (нет, не совместных) под Рязанью, их, кажется, больше ничего и не роднило. Ну, и ещё кроме моей мамы, естественно.

От дяди Бори всегда противно пахло бензином. Он напоминал мне шофера, да он и работал кем-то таким, было там что-то связанное с машиной. А шофера напоминал такого карикатурного – из «Бриллиантовой руки» и «Брата» одновременно. Адская смесь.

Дядя Боря любил свой гараж и свою машину, хоть ей и было уже лет семь. Он сам менял масло, а раньше и резину летнюю на зимнюю менял тоже сам. Потом они с мужиками начали квасить в гараже, и к запаху бензина добавился запах перегара. Но это было уже потом, почти перед самым разводом. А слово-то какое забавное – «квасить». Откуда оно у меня в голове?

Он вообще умудрялся сочетать в себе странные вещи, например, слушал шансон и русский рок. Как в том анекдоте про грушевый компот и манную кашу.

Дядя Боря сел в машину, и мы поехали. У меня было ощущение нереальности происходящего, будто всё это происходит не со мной. Будто всё это – где-то на дне, и каждое своё движение, каждый звук я воспринимаю сквозь толщу воды. В голове у меня назойливо крутилась фраза из песни, но я никак не могла вспомнить, из какой.

Мы приехали к больнице. Приехали, как мне показалось, слишком быстро, а мне так не хотелось приезжать! Ехать бы так целый день: я бы смотрела в окно и думала бы о маме. Дорога меня как-то гипнотизирует. И успокаивает.

Машину дядя Боря припарковал довольно далеко от входа, и мы минут пять шли вдоль высокого бетонного забора. Сверху каркали вороны, и если задрать голову, можно увидеть их гнёзда в берёзовых ветвях. Я подумала, что хоть что-то сбылось: не дождь с лужами, так хотя бы вороны. Солнце уже вылезло и грело во всю.

Территория больницы оказалась огромная. Мы прошли в самый дальний конец, где стоял морг. Навстречу нам попались два грузных мужика в грязных белых халатах. Я видела, как они курили за углом, а потом обогнули здание и пошли по дорожке. Один из них бросил другому – «холодное отделение», и я сразу поняла, о чём они.

Вокруг «холодного» корпуса росли высоченные ёлки. Как это символично, подумала я, у славян ель всегда была деревом смерти. Откуда я это помню?

Дальше было только хуже. Мы втроём зашли внутрь и бабушке отдали документы. А потом мы вышли наружу и обошли здание. И там был такой, как бы ангар: просторное помещение с большими воротами, чтобы могла заехать машина. И в этом ангаре на каком-то постаменте стоял гроб с мамой. И тут и впервые по-настоящему разрыдалась. Накатило.

Мама была сама на себя не похожа: нос стал какой-то слишком острый и тонкий, и вздёрнутый кверху, лицо восковое, как в музее у мадам Тюссо, губы накрашены чем-то неестественным. А главное – глаза. Глаза закрыты. И я вдруг поняла, что мне больше всего на свете хочется ещё раз заглянуть ей в глаза, хочется, чтобы она на меня посмотрела. Оно всегда на меня смотрела с какой-то смешинкой во взгляде. И с любовью. Но я поняла, что это невозможно. Наверное, это и есть грань между жизнью и смертью: не отлетающая душа, а именно взгляд. Отсутствие взгляда.

Подъехала маршрутка – от странного ощущения, я даже забыла слово «газель». Я щипала себя за руку, чтобы проснуться. Это всё – просто дурной сон. Просто кошмар. Почему я не просыпаюсь?!

Маму накрыли крышкой и какие-то мужики затащили гроб внутрь, зафиксировали его, что-то лязгнуло, и бабушка сказала, что мы с ней вдвоём поедem в «газели».

Подходили какие-то люди, выражали соболезнования бабушке, дяде Боре и мне. У многих в руках были цветы, у некоторых – заплаканные лица. Я почти никого из них не узнала. Одна женщина дала мне пачку бумажных платочков. Очень вовремя: у меня текло из носа, а

слёзы я размазывала по лицу перчаткой. Я просто забыла, что у меня с собой есть две такие же пачки.

В машине я снова чувствовала себя странно: мы ехали с бабушкой вдвоём, а между нами стоял закрытый гроб. Я не верила, что там внутри лежит мама.

Гроб был чёрный, блестящий, будто обтянутый атласом или шёлком, а по швам, если это, конечно, называется швами, шла ярко-жёлтая тесьма. Смотрелось очень эффектно: чёрное и ярко-жёлтое. Хотя мама жёлтый цвет, кажется, не любила. Она говорила, что в средневековье это был цвет измены и предательства. Впрочем, чёрный она тоже не особенно любила. Кто вообще выбирал эту обивку?

Бабушка тихо всхлипывала, и по лицу у неё текли слёзы. Она же хоронит свою дочь, пронеслась у меня в голове мысль. Она похоронила мужа, а теперь хоронит единственного ребёнка. И у меня по спине побежал озноб.

Потом мы приехали к церкви. Парковочных мест не было, и «газель» объехала по периметру два раза, пока нашлось куда встать. Здесь уже толпились люди и почти у всех в руках были цветы. Народу было неожиданно много.

– Стой тут.

Бабушка достала из сумки какие-то документы и быстро-быстро куда-то пошла. Четверо мужчин с очень серьёзными лицами стали доставать из машины гроб, абсолютно не замечая меня. Я так и стояла.

Похороны занимались бабушка и дядя Боря. А мне казалось, что я уже совсем взрослая. Совершеннолетняя же. Но сейчас я абсолютно не представляла, что надо делать, куда идти, и кому какие бумажки показывать. А ведь это я должна была заказывать венки и договариваться со всеми этими людьми, а я даже палец о палец не ударила...

А чего мне тут стоять? И я пошла к церкви. По дороге рассматривала толпу. В основном, это были почему-то бабушкины приятельницы. Женщин возраста моей мамы тоже было немало, но бабушки сбивались в кучки, а эти все почему-то держались поодиночке. Это клиентки, неожиданно поняла я. А почему все женщины? Где мужчины?

Наверное, даже не мужчины – мужчина. Я ждала всего одного. Мой отец же придёт на похороны? Я его увижу? Узнаю?

Меня бомбило. Бомбило с толпы абсолютно незнакомых людей, бомбило с того, что они могли улыбаться и разговаривать, а у меня ком в горле стоял ещё с утра. Бомбило, что они потом разъедутся по домам и будут дальше жить своей жизнью, будто бы ничего особенного и не произошло, а я останусь настолько одна, насколько ещё никогда не бывала. Мне казалось, что это всё. Конец. Что закончится сегодняшний день, а завтра уже не будет.

У самого входа стояли бабВера и бабВаля. Я подошла к ним и они обняли меня. БабВера была очень похожа на бабушку: такая же плотненькая, только будто совсем спрессованная и утрамбованная – такое от неё было впечатление, и какая-то квадратная. А бабВаля была маленькая, сухонькая и белая-белая, будто снегом посыпанная. БабВера казалась тяжелой, а бабВаля очень лёгкой.

Бабушка сказала, что мы рано приехали и надо ждать. Дядя Боря предложил помянуть. В толпе идею поддержали, и мы все залезли в какой-то автобус. Автобус был ужасно старый, из тех, что ходил в моём детстве от станции до дачи, правда, ходили не долго. А ещё такие автобусы я видела в сериалах о советском времени. Пазик. В нём сильно пахло бензином и почему-то жженой резиной.

Бабушка вынула из под сидения сумки, те самые, что были в багажнике у дяди Бори, и я удивилась как они тут оказались. Из сумок запахло едой. Бабушка достала завернутые в полотенце блины, одноразовые стаканчики и тарелки, и даже кутью. Кутью я никогда раньше не пробовала, даже не знала, что это такое, хотя слово было смутно знакомым.

– Борис, тебе не дам, – отрезала бабушка, доставая со дна бутылку водки, – тебе ещё на кладбище ехать.

Дядя Боря хмыкнул, но спорить не стал. По его завистливым глазам было видно, что он рассчитывал хотя бы на одну рюмку.

Бабушка посмотрела на меня и протянула мне половину рюмки.

– На, а то лица на тебе нету.

Рот обожгло. Водку я не любила. Я закашлялась, мне сунули блин. Ох, голова, наверное, будет потом болеть. Но в тот момент мне было совершенно всё равно.

Потом все куда-то разошлись, я даже не заметила как. Бабушку, я видела, обступили подружки и соседки, почему-то все в чёрных шелковых платках. Откуда они взяли столько одинаковых чёрных платков? Все они промокали глаза и трогали друг друга за руки. Мне не хотелось к ним подходить, чтобы меня тоже не стали хватать за руки и, заглядывая в глаза, расспрашивать о маме.

Я огляделась и заметила немного в стороне группу из шести человек. Это точно были наши, потому что заводилу-толстяка, размахивавшего руками, я видела ещё около больницы.

На вид им было лет по сорок-сорок пять, мамины ровесники. Четверо мужчин и две женщины, все одеты довольно скромно, причем не в чёрное, а кто во что горазд. На толстяке была распахнутая коричневая куртка, из-под которой торчал жёлтый галстук. Ещё один мужчина с немодными усами, ёжился и прыгал с ноги на ногу, потому что на нём был только клетчатый пиджак, и он, наверное, не смотря на яркое солнце, ужасно мёрз. Я-то расстегнула пальто, но снимать его совершенно не хотелось: ветер был резкий и холодный.

На женщинах были какие-то сектантские убожеские хламиды мышинного цвета, торчавшие из-под стеганых курток. Я бы не удивилась, если бы под платьями обнаружили небритые ноги. Хотя, какое мне дело? И почему я вообще подумала о ногах?

Бесформенные платья неопределённых оттенков вошли в моду недавно, но что-то подсказывало мне, им всем было глубоко чихать на моду. Пожалуй, в каждом из этих людей читалось если не презрение, то какое-то равнодушие к своему внешнему виду.

Я подошла поближе, сделала вид, что устала и хочу посидеть. Присела на скамейку рядом и стала слушать. Они определённо говорили о ней. Толстяк вспоминал что-то и то и дело вставлял «мы с Соней тогда подумали», «мы с Соней решили», «когда мы с Соней ездили». Мне показалось, он хочет выдать их знакомство за более близкое и хвастается что ли этим, а на самом деле он её не так уж хорошо и знал. Но как же мерзко он при этом лыбится! Вот же отвратительный тип.

Остальные кивали, тоже что-то говорили. Одна из женщин вспоминала, как мама помогла ей. «Соня мне такого специалиста нашла, а я её и поблагодарить-то не успела». Интересно, неужели для того, чтобы сказать «спасибо» нужно много времени? Или она не о том? Подумав, я всё же решила к ним подойти.

– Здравствуйте, – сказала я, и на меня посмотрели с недоумением.

Точно какие-то левые люди – были бы друзьями, узнали бы меня сейчас, а у этих лица, как у стада баранов.

– Я Вика. Сониная дочь.

– Ох, здравствуйте, Вика, – тут же вздохнула одна из тёток.

– Примите наши соболезнования, – подхватила другая.

– Это такая трагедия!

– Как же жалко!

– Скажите, вы знали мою маму?

– Да, мы учились вместе.

– Совсем недавно заканчивали курс по современным методам психотерапии, – с гордостью вставил толстяк.

– Понятно, – сказала я, развернулась и пошла в церковь.

Службу я запомнила плохо. Маме положили на лоб какую-то тряпочку с круглой пентаграммой. Было ужасно противно смотреть на эту тряпочку. Да и на её, такое чужое теперь лицо тоже смотреть было неприятно, но оторваться я не могла. Неприятно было именно то, что сходство с мамой было весьма условным. Но из всего, что было вокруг, я только и могла смотреть, что на мамино лицо, оно притягивало меня, как магнитик к холодильнику.

Ещё помню, что было светло, и был очень высокий потолок, а стены до самого потолка были все в иконах. И очень красиво пели, а я никак не могла понять, откуда же раздаются голоса. В покоище твоём господи. Голоса взлетали под самый потолок, да даже и не потолок, свод храма, и казалось, что там, сверху, для нас поют ангелы. Помилуй нас боже. Как я буду теперь без неё? Молимся об упокоении души рабы божьей. Мама, как ты могла меня оставить? Как ты могла? Господь смерть поправший. Ты меня оставила тут одну. Как ты могла?!

И очень сильно пахло ладаном. Так сильно, что я начала чихать, не останавливаясь. Я чихала в платок, стараясь делать это потише, но в самом конце случился казус. Священник замолчал, смолкло и пение, повисла пауза, и в этой тишине я захотела зевнуть. И чихнула с открытым ртом так, что эхо улетело куда-то под свод, к ангелам, а потом звучало в ушах ещё несколько секунд. От стыда я выбралась из церкви, и остаток времени ждала снаружи, стараясь слиться с ландшафтом и стать невидимкой. Мне очень хотелось спрятаться. Хотелось, чтобы на меня не смотрели, не подходили ко мне и ничего не спрашивали. На меня и не смотрели почти. Отпевание кончилось, и толпа повали наружу.

Больше я маму не видела. Из церкви гроб вынесли уже закрытым, и больше его не открывали.

Мы приехали на кладбище. Вопреки моим представлениям, здесь не было ни надгробий, похожих на памятники, ни замысловатых кованых оград, покрытых патиной, ни старых могил. Это было просто поле, огромное поле, окруженное со всех сторон деревьями. Поле, расчерченное на могилы. Зато тут было неожиданно грязно. Конечно, тут же свежие могилы копают. В земле. А я-то даже не подумала, выглянула в окно и увидела сухие тротуары, и легкомысленно надела новые ботинки.

Тут было много дешевых искусственных цветов, вызывающе ярких и до безобразия вульгарных. Были совершенно одинаковые, будто под копирку наштампованные чёрные таблички с золотыми буквами и цифрами: фамилии и годы жизни. Такие одинаковые, будто люди, для которых эти таблички делали, были вовсе не людьми, а какими-то единицами. Ещё были огромные деревянные кресты и низкие-низкие заборчики. Я в первый раз в жизни была на похоронах.

Из «газели» достали гроб и в крышку вбили гвоздь.

В этот момент я разрыдалась, потому что только сейчас поняла, что значит выражение «как гвоздь в крышку гроба» – это навсегда. И я поняла, что больше никогда-никогда не увижу маминых глаз. Не обниму её. Не услышу её голос. Не расскажу ей, как прошёл день. Не посмеюсь вместе с ней. Это такая неотвратимость, такая жуткая безысходность, какую невозможно даже описать. И я заплакала.

Дул острый и холодный, как лезвие ветер. От него жгло щёки и сводило уши, не спасала даже шапка, а слёзы становились будто металлические, и лицу делалось очень неприятно, казалось, что слёзы сейчас замёрзнут прямо в глазах. Казалось, слёзы поцарапают или даже разрежут мне глаза, и мне придётся закрыть их навсегда, как маме.

В углу участка я увидела приготовленный крест. Большой и деревянный. Я хотела сказать бабушке, что это пошлость, что лучше было бы поставить гранитную плиту, но она шепнула

мне, что крест – это временно, что кресты ставят над могилами, пока не осядет земля, и я немного успокоилась.

Я огляделась. Кладбище всё-таки выглядело страшно. Через два участка от нас была насыпь из свежей земли, из неё торчал такой же свежий крест, а под крестом сидел огромный синий плюшевый медведь. Мне стало дурно. Неужели ребёнок? Я почему-то не думала раньше о том, что дети тоже умирают, и их, таких маленьких, тоже хоронят на кладбище, наверное, в маленьких гробиках.

Народу не то действительно поубавилось, не то просто на открытом пространстве люди стали казаться мельче. Лица определённо сменились: компании с толстяком во главе уже не было, зато я заметила несколько новых человек. И, кстати, цветы, которые все так старательно клали в гроб, из гроба аккуратно вынули ещё в церкви, и теперь весь этот гербарий снова разошелся по рукам. Похоже, цветы собирались водрузить на холм свежей земли, как того медведя.

К бабушке подошла высокая женщина, по возрасту – мамина ровесница. Она что-то сказала, и они обнялись, и, судя по подергиванию плечей, обе плакали. Наверное, какая-нибудь родственница. Может, бабВалина дочка, которая к двум должна была приехать, раньше освободилась.

Я рассматривала их издали: у женщины были явно крашенные волосы какого-то очень красивого оттенка, я никак не могла понять, что они мне напоминают. Потом поняла – чёрную смородину. Такие тёмные, будто чёрные, и вместе с тем не то с лиловым, не то с красным отливом. Или черничное варенье.

Женщина отошла от бабушки и скромно заняла место в последних рядах. Почти тут же к ней подошла ещё одна, помоложе, лет тридцати пяти, наверное, они поздоровались и перекинулись парой слов.

Эту вторую я уже видела: она вылезала из ярко-синего «мини купера», когда мы подъезжали к кладбищу. На ней были очки и бардовый плащ, а каштановые с рыжиной волосы у неё торчали во все стороны. То ли химия, то ли свои такие кудряшки от природы. Про такие говорят – копна. В жизни редко встретишь реальную копну волос: обычно волосы у всех гладкие, жидкие. У мамы вот густые были. Маме повезло с волосами, а мне нет. Я, видимо, в папу пошла.

Эту женщину с копной нельзя было назвать толстой, но она вся была какая-то кругленькая: круглое лицо с щеками, грудь большая, фигура, с таким животом и боками, которую не скрывал даже плащ. И они очень смешно смотрелись вдвоём: одна высокая и худая, другая низкая и круглая.

Пришёл священник в чёрном. Он замахал кадилом над гробом, и что-то нараспев говорил. Все наклонили головы, и я тоже. Я хотела подойти к этим двоим, а потом подумала, что ещё успею. Тем более, что сейчас момент был явно не подходящий. Но, скосив глаз, я продолжала наблюдать. К ним присоединился ещё и мужчина с огромными, на пол головы, залысинами. На нём было очень приличное пальто горчичного цвета, а в руках – охапка белых роз.

Гроб уже осторожно опускали вниз. Опускали долго и напряженно, и я поняла, что он очень тяжелый. От этой мысли снова стало не по себе: что-то было в этом такое монументальное, такое «навсегда»... Был бы гроб с мамой лёгким, и опускался бы он тогда легко, и относиться к происходящему, наверное, можно было бы легче...

Когда гроб коснулся дна, четверо мужиков с испытанными лицами облегченно вздохнули, вытерли пот и стали закапывать могилу. Они так буднично схватились за лопаты, будто всё уже было окончено, и оставалась сущая ерунда – забросать яму землёй. А как же цветы? А крест? Мы продолжали стоять с бабушкой вдвоём, пока к нам не подошёл дядя Боря.

Выяснилось, что люди уже начали расходиться, и предстояло снова сортировать всех по машинам: кто на поминки, а кто нет. Я огляделась в поисках тех троих, но их уже не было.

Мы с бабушкой сели в машину к дяде Боре. Бабушка спереди, а сзади кроме меня бабВера и бабВаля.

Поминки были в бабушкиной квартире, это казалось мне правильным. Было совершенно невозможно пригласить такую толпу незнакомых людей к нам домой. В наш с мамой дом.

Когда мы вошли, и я увидела масштаб подготовки, мне снова стало стыдно и неловко: почему она не позвала меня? Да, конечно, ей помогали сестры, но они бы могли бы позвать и меня... Я бы могла хотя бы в магазин сходить – у неё на серванте стояло шесть литровых пакетов сока и два полутора литровых, как они их тащили, интересно?

Я бродила по квартире, словно тень. Иногда со мной заговаривали, качали головой, жалели и меня, и маму, но мне постоянно казалось, будто я присутствую тут только наполовину, что другая часть меня где-то не здесь. А где? Осталась на кладбище?

Сели за стол. Меня бомбило. Всё было противно: и люди, и разговоры, есть не хотелось совершенно, но уйти было нельзя.

– Боренька, ну как салат? – с заискивающей интонацией спросила бабВаля.

– Очень вкусный. Но я вам его не рекомендую.

– Почему же?

– А мне тогда меньше достанется.

Все рассмеялись. Как они могли смеяться, шутить? У меня ком в горле стоял, а эти смеялись, тянули рты в улыбках, чавкали, пережевывая, просили налить ещё.

– А ребёнку-то, ребёнку зачем наливаєшь?!

– Какой она ребёнок?! Восемнадцать уже есть, замуж пора давно и детей рожать!

– Правда, ну что вы ей богу, она мать потеряла, от одной рюмки ничего ей не будет.

Я будто смотрела на всю сцену со стороны: вот сию я, опустив плечи. Вот дядя Боря наливает мне в рюмку дешевого коньяка.

– Да как же так?! Дочь вперед матери, – голос бабушки дрогнул, и рюмка у неё в руке задрожала. И она разрыдалась, а вслед за ней разрыдалась и я. Над нами долго кто-то махал руками, как курица-наседка крыльями, бабушке что-то капали в рюмку с водкой, мне тоже совали под нос какую-то ментоловую дрянь, а я отбивалась, и, кажется, в итоге опрокинула этот пузырь. А потом всё стихло, и сквозь слёзы в голову начал продираться бабушкин голос.

– Никому не пожелаешь. Откуда? У нас в роду все долгожители. У всех хорошие сосуды были.

– Точно-точно, – важно поддакивала бабВера.

– Папа наш, царство ему небесное, до девяноста двух дожил, мама в восемьдесят шесть ушла, Зоя в восемьдесят три, Галина Иннокентьевна то ли в девяносто один то ли в девяносто два. Скажи, Вер! А дочь....

И бабушка завывала. Реально завывала, как собака. Я оторопела. Была в таком шоке, что даже перестала плакать. В голове крутилось только одно: деда-то она забыла. Дедушка Серёжа, умер в шестьдесят девять от инфаркта. Но я не стала ей об этом напоминать.

Во время «перемены блюд», когда немногочисленные мужчины вышли на лестницу курить, а бабушка грела горячее, ко мне подошла баба Лиза, наша бывшая соседка по даче, и тихо-тихо стала мне что-то говорить.

– Люба только отмахнулась, но я всё равно должна предупредить, ты не представляешь, сколько сейчас мошенников и всяких прохвостов! – тараторила она, – будут звонить, представляться маклерами этими, риелторами, глазом моргнуть не успеешь, квартиру отберут. Они знают, что тебе сейчас тяжело, что тебе будет трудно жить в квартире, где каждую минуту всё напоминает о маме. Трубку не бери, ни с кем даже не разговаривай! Тебе бы сейчас какое-то время бы у Любы пожить. Вам обеим так бы легче было, а там глядишь, и придумаете чего-то...

– Лиза, ты где?

– Чаво?! – вздрогнула баба Лиза.

– Иди помоги!

И на этом инструктаж и оборвался. Я была рада. Сейчас было просто невыносимо слушать чьи-то советы. И с чего она взяла, что мне будет тяжело жить в нашей с мамой квартире?

С кухни потянуло жареными куриными ножками. Жирными ножками. Как они могут есть? Меня воротило от запахов еды. За сегодня я съела блин в старом автобусе и немного салата сейчас за столом. От одной мысли о жареной курице мне стало плохо. Больше всего мне хотелось, чтобы всё это уже кончилось, и все эти люди бы разошлись по домам. Я старалась не думать о том, что они оставят после себя горы грязной посуды. Неужели я бабушке даже с посудой не помогу? Но мыть это всё...

Но когда стали убирать посуду после горячего перед чаем, я будто бы проснулась. Мне вдруг захотелось оглядеться вокруг и поговорить с кем-то о маме. Только не с бабушкой. С кем-то, кто знал маму с другой стороны. В самом деле, неужели тут только бабушкины приятельницы? Должны же у мамы быть друзья.

Женщин маминого возраста было всего три, и я ни одну из них не знала. Я вдруг поняла, что я вообще не знаю маминых подруг.

– Ба, а кто-нибудь из маминых подруг-то был?

– А как же? Вон Ирка, та, с короткой стрижкой, Надежды Марковны дочь. Маруся на кладбище была ещё.

– А Ирка – это кто? Они с мамой как познакомились?

– Да соседи наши по даче были. Пока мы дачу не продали, они каждое лето вместе проводили. Не разлей вода девки были.

Бабушка вздохнула. Деревню, настоящую деревню, она всегда предпочитала даче, поэтому на тех восьми сотках, что ей достались, она распахала такой огород, что стонали не только мы с мамой, но и все соседи. Пожалуй, только дядя Боря не стонал. Ему на самом деле нравилось копать картошку и таскать на себе пыльные мешки. А ещё, как мне рассказывала потом мама, они любили с дедом спрятаться за баню и «дегустировать» там. Что они дегустировали, догадаться было не трудно. Вот поэтому дядя Боря дачу и любил.

Я нахмурилась. Вряд ли эта Ирина с дачи могла что-то знать о моей маме, о маме сегодняшней.

– А кто такая Маруся?

– Так уехала она. Не поехала на поминки.

– Почему?

Бабушка нахохлилась.

– Да я что-то и не сказала ей, закрутилась и как-то... Эх, – она махнула рукой.

– Понятно. А вон та женщина – это кто? Это Анна? – вспомнила я, потому что женщина подошла к бабе Вере и что-то стала тихой ей говорить.

– Она-она, Нюрка.

– А это кто?

– Рыжая что ли? Так это Валентины Степановны дочка. Они с твоей мамой в музыкальную школу вместе ходили.

– Мама закончила музыкальную школу? – удивилась я.

– Не закончила, бросила. И что ты всё выпрашиваешь у меня? Вон иди лучше посуду собери со стола.

Я пошла за посудой. Ирина стояла у шкафа и рассматривала фотографии, которые бабушка вставляла между стёклами. И я решила подойти к ней и завязать разговор.

– Вы хорошо знали маму? – спросила я.

Она вздрогнула, будто не слышала, как я подошла.

– Нет. Мы очень дружили в детстве, но потом твоя бабушка продала дачу, и мама перестала приезжать. Мы с ней переписывались одно время, – извиняющимся тоном сказала она, и я поняла, что это дохлый номер.

Так я никого не найду, кто мог бы хоть что-то знать о маме.

– Наши мамы поддерживали отношения, – Ирина будто бы поставила точку в разговоре.

В комнату впереvalочку вплыла Надежда Марковна, которую мучила одышка при каждом движении, и Ирина бросилась ей помогать.

– Извините, а вы хорошо знали мою маму? – подошла я к рыжей дочери Валентины Степановны, нисколько не смутившись тем, что бабушка даже не сказала мне её имени.

– Ну, не так, чтобы, – замялась она, – мы с ней дружили когда-то. Мы в последнее время переписывались в интернете...

Снова мимо. Все какие-то чересчур старые знакомые. Просроченные. А мне – так и вовсе незнакомые. Что вы все вообще тут делаете? Зачем вы приехали?

И где живые люди? С кем дружила, общалась моя мама в последние годы? И, кстати, вдруг осенила меня гениальная мысль, а кто был её супервизором?

– Вон иди у Бори спроси, с кем мать общалась, – шепнула бабушка мне в самое ухо, – поди, он знает получше моего.

И я пошла к дяде Боре. Дядя Боря был старше мамы лет на пять или шесть. Поначалу, когда они начали встречаться, мне он очень не нравился: от него всегда резко пахло, и ещё он крал у меня мою маму. Потом мы переехали к нему. Мне было года четыре, я плакала и говорила, что останусь жить с бабушкой и дедушкой, и никуда не поеду. Потом я привыкла к его присутствию, к его запаху, к ногтям в заусенцах и пугавшим меня шуткам. У нас с дядей Борей было абсолютно разное чувство юмора.

И хотя дядя Боря всегда держал со мной дистанцию, под конец мы с ним притерпелись что ли, и у нас даже появилось что-то отдалённо напоминающее симпатию. Нет, я бы всё-таки не назвала это симпатией, скорее – согласие. Ну, всё равно же не деться никуда.

Дядя Боря стоял у окна на лестничной клетке и курил. Вся одежда на нём была до нельзя прокуренная: и куртка, и кепка, и ногти на пальцах у него пожелтели от никотина, а на щеках была неаккуратная, неравномерно седая щетина. А ещё у дяди Бори из ноздрей торчали волосы, и это тоже было очень неприятно. Я никогда не понимала, что моя мама могла в нём найти. И сейчас меня это испугало: если ей нравился вот такой вот дядя Боря, вдруг и мой папа такой же?

– Дядь Борь, – позвала я. Он только хмыкнул в ответ, показывая, что слышит меня, даже не обернулся.

Я не знала, что спросить, и он молчал. Он никогда не отличался чуткостью. Эмпатия? Нет, не слышали. Скорее равнодушие и косноязычие. И – да, мне он казался человеком, слепленным только из отрицательных качеств. Может, спросить у него про отца, вдруг, он что-то знает?

– Дядь Борь, – сделала я второй заход, – а у мамы друзья вообще были?

Он даже обернулся – не ожидал такого вопроса, и сам вопрос его удивил. «Друзья? А зачем они?» – читалось в его глазах, и я поняла, что этот разговор – ещё одна пустая трата времени.

– А я почём знаю? – и он снова отвернулся от меня и уставился в окно. Зажженная сигарета дымилась в пальцах, но пока я стояла тут, он ещё ни разу ею не затянулся. Я догадывалась, что это не первая сигарета, возможно, прикуренная от предыдущей.

Я уже собиралась уходить, как он тихо сказал:

– Постой со мной. Грустно без неё. Тоска.

– Мне тоже, – тихо сказала я, чтобы не дрожал голос, – грустно.

И отошла так, чтобы он меня не видел. Так было проще вытирать слёзы, и не было так стыдно. И ещё дядя Боря мог сказать мне что-то вроде «не реви», и мне бы стало обидно. Хотелось поплакать спокойно, так, чтобы никто на меня не смотрел, не жалел и не осуждал за это. Я вот вроде бы и была совсем одна тут, на поминках, а вроде бы была и в толпе – толком не поплачешь, сразу начнут нашатырь под нос пихать, или что там у них ментолом пахло.

– Дурак я дурак, – говорил дядя Боря оконному стеклу, – не приревновал бы её тогда, она бы, может, и не ушла. А так... Эх. Да, разве же это... Нельзя так.

Он раздавил сигарету в консервной банке, заменявшей пепельницу, и обернулся ко мне.

– Ну пошли, рёва-корова, Любовь Петровна ждёт.

На этом весь разговор и кончился.

Глава 3. Дневник.

На следующий день, в пятницу, я решила остаться дома. Было что-то неестественное в том, чтобы накрасться и пойти на учёбу, как ни в чём не бывало. К тому же, сегодня был дебилый день – математика и история искусств. Кто додумался поставить два этих предмета рядом? И вообще, зачем графическому дизайнеру математика? Ну, ладно-ладно, может и нужна, но я на неё не пойду. Была бы сегодня пропедевтика – основы композиции, тогда бы я, может, и пошла. А на математику можно забить.

Я выключила будильник и проспала до полудня. В последние дни я вообще много спала, во сне было легче, а просыпаешься – в первые секунды вроде ничего, а потом одно воспоминание о реальности, и тебя словно накрывает. Что-то такое банальное, но я не могла подобрать слов точнее. Просыпаешься – и накрывает. И опять тишина в квартире, и эти мыли ужасные...

Чтобы чем-то себя занять, я затеяла уборку. В маминной комнате, конечно, было чисто, поэтому я убиралась у себя. А потом решила разобрать почту, у нас с мамой это была семейная проблема – забывать вытаскивать газеты из ящика и вспоминать об этом только тогда, когда из щелочки начинала торчать макулатура. Я накинула куртку и спустилась вниз. Повыбрасывала рекламу, газеты забрала – мама всегда мыла окна только с газетами, а скоро их надо будет мыть. И на самом дне почтового ящика обнаружилась квитанция.

Вот и началось всё с оплаты счетов. Я взяла ЕПД за последний месяц и медленно побрела обратно. Мне нужно было его оплатить, я даже вроде бы представляла себе, как это делать, но смутно. На карточке у меня были деньги – недавно пришла стипендия, но просто раньше я никогда ещё не платила сама. Взрослая жизнь – это первая самостоятельная оплата жилья. Я принесла ЕПД в свою комнату, и включила компьютер. Что дальше?

И тут я вспомнила, что мама очень не любила закрывать вкладки в браузере. Она постоянно делала закладки, но, не смотря на это, всё равно оставляла вкладки открытыми. Я говорила ей, что так не надо, но всё было без толку. Мне так удобно – и всё. Но сейчас меня это даже обрадовало. Наверное, на её ноутбуке есть какая-то закладка для коммунальных платежей, она бы точно не стала закрывать вкладку, которую стабильно использует раз в месяц. Или сделала бы закладку на табло. И я пошла искать её ноутбук.

Он оказался рядом с тумбочкой с другой стороны кровати, она часто брала его в кровать, благополучно забив на то, что его нельзя ставить на одеяло. Вот такая у меня мама. Старенький ноутбук тупил страшно. Загружался минут шесть, я успела сходить в туалет и налить себе кофе, а он всё грузился. Браузер открывался ещё четыре минуты. Как она вообще на нём работала?

В ноутбуке действительно оказалось полным полно закладок, я смотрела и вспоминала.

Вспомнила, что можно платить через госуслуги, а можно через сбербанк. Странно, что такие простые вещи бывает так сложно вспомнить. Но всё это у меня мгновенно вылетело из головы, потому что одна из закладок была закладка на сервис онлайн дневников.

Мама вела дневник давно. Она говорила, он помогает структурировать мысли. И вслед за ней я тоже завела дневник, но писать бросила. А мама писала. У меня тоже был дневник, и он продержался долго, но исключительно потому что я читала Проститутку Кэт, пока мне не надоело. Я сама так ни разу и не написал ни строчки в дневнике.

Вообще-то, я бы хотела читать маму, но её страница была закрыта. Она объясняла мне, что настоящий дневник – это очень личная вещь, и что он нужен не для того, чтобы быть блогером, а для того, чтобы писать в нём о себе и писать честно, для себя. Я помню, как тогда обиделась на неё.

Но теперь-то я могу прочесть её дневник? Теоретически, могу, если только у неё введен пароль. А это не будет неуважением по отношению к маме? Всё-таки, дневник – это личное. Мне стыдно спать в её кровати, но не стыдно читать её дневник? С минуту я боролась с собой.

А что сказала бы мама? Что сказала бы бабушка? Но, с другой стороны, этот дневник, и мамин ноутбук – это всё, что у меня от неё осталось. В конце концов, она могла выйти, а я понятия не имею какой у неё мог быть пароль.

И я, забыв про оплату счетов, с замиранием сердца кликнула на вкладку. Страница открылась, пароль уже был введен. Внутри меня всё возликовало. Но не потому, что я добралась до чего-то тайного, запретного, а потому что там, за этими строчками жила моя мама. Та, которая хотела познакомить меня с папой, но просто не успела...

Изнутри дневник выглядел немного устрашающе: темный фон и белые буквы. На фоне какие-то птицы: белые и чёрные, кажется, это журавль и ворон. Зачем она выбрала такое оформление?

Я начала читать, но разочаровалась: записи о клиентах, причём не упоминается ни одного имени, бесконечные О., К., А. Тут были мамины размышления о прочитанных книгах, по большей части не художественных, а если и встречались художественные, то всё равно было похоже на разбор клинического случая с кучей психологических терминов и диагнозов. Порой, правда, попадались записи о путешествиях, и я читала их с упоением: можно было пережить заново лучшие моменты из прошлого. Моменты, где мы были вместе с мамой, где мы ездили в отпуск, гуляли по набережным, поднимались на колокольни и встречали рассвет, когда солнце выныривало прямо из моря.

Я решила читать всё подряд, чтобы ничего не пропустить. Передо мной была мамина жизнь, и теперь, когда никто не мог уже мне об этом рассказать, оставалось одно – слушать, как мама говорит со мной со страниц своего дневника. Жаль только, мама писала не слишком часто, последняя запись была сделана ею за десять дней до смерти.

«Как по-разному мы чувствуем... Мне попала в руки книжка одного из современных авторов, очень модного, такой легкий роман с детективным оттенком, какое-то популярное смешение жанров, но я забыла термин. Джон Питер Бристоу – вроде как англичанин или англичанин американского происхождения, не очень понятно, забавно другое, а именно, как он описывает чувства. Всё: гнев, любовь, желание, ненависть, отвращение – все через телесные метафоры, только через физические ощущения. «В груди что-то кольнуло, сердце моё сначала остановилось, а потом припустилось, будто лиса из кустов», «я не заметил сам, как скривил рот, а во рту стало так кисло, будто бы я откусил сразу пол лимона», «я попытался сделать вдох, но лёгкие не слушались, казалось, кто-то сдавил мне грудь». Ты читаешь, переживаешь то, что он описывает, и только потом пытаешься это как-то интерпретировать: ага, это страх, а это отвращение и т.д.

Как будто чувство невозможно описать по-другому, я не говорю уж о том, чтобы просто написать «я испугался». Хорошо, если тут важна претензия на оригинальность, почему бы не использовать другие метафоры? Я испытал такое чувство, будто оступился и запачкал ботинок в коровьей лепёшке. Ну, хорошо, писатель из меня так себе, но я хочу сказать, что физическая сторона – это не единственный способ интерпретации собственных чувств.

А самое интересное – его очень хвалят. Это какая-то новая модная тенденция – фиксация на телесном. Мне вспоминается коммунизм с его полным погружением в материализм и отрицанием психики как чего-то абстрактного, что невозможно потрогать, а значит, невозможно и изучить. И здесь так же: если чувство не вызывает отклика в теле, что же это за чувство тогда такое?

Как это грустно – уметь распознавать свои чувства исключительно через тело. Бежать, бежать и бежать, и только падая с ног понимать, что ты устал. Фиксироваться на количестве вдохов, на сокращении мышц, на ногах, отталкивающихся от земли – и полностью игнорировать тот страх, или то желание, что и являются причиной бега. Очень печально».

В дневнике было двадцать две страницы по несколько десятков записей на каждой. Записи были разной длины – были совсем коротенькие, в пару предложений, в основном они назывались «инсайты» или «мысли», а были длинные, на пару страниц А4. Я впивалась глазами в монитор и читала, читала, ничего не пропуская.

«Фотография – это настоящая магия! Как-то всё более или менее ясно с врачами, бухгалтерами, плотниками, сантехниками – да со всеми, кто работает руками. Люди учатся что-то делать и потому делают это хорошо, гораздо лучше, чем ты – это понятно и логично. У них есть специальные инструменты для этого, какие-то особые профессиональные штуки, специальные приборы, а у фотографов только их глаза и фотоаппарат. И ведь самое главное – мы все видим одну и ту же картинку! Одну и ту же... Но один снимает её так, что вообще ничего не понятно, а у другого шедевр. А самое главное, что тут результат – это и есть сам процесс! Врач назначает хитроумные анализы, изучает их, бухгалтер работает с цифрами, сантехник знает, где и что надо завернуть и каким ключом это надо делать, а тут один взгляд, щёлчок затвора – и перед тобой произведение искусства. Всё на виду, всё на ладони! Ты смотришь на готовую фотографию, видишь, что предмет на переднем плане как бы выхвачен камерой, а фон сзади размыт. Но почему ты чувствуешь то, что хотел показать тебе фотограф? Как он передаёт тебе свои эмоции?

Кажется, это легко? А ты попробуй повтори – возьми в руки тот же фотоаппарат и попробуй снять так же. Секрет в фотоаппарате, во вспышках, отражателях? Да ну! Я видела такие снимки на камеру обычного телефона, что просто дыхание перехватывает. Попробуешь повторить, а не то получается, совсем не то. Это потрясающее волшебство – это умение видеть, видеть красоту, уметь её поймать.

Ты видишь оригинал, видишь результат – они одинаковы, и в то же время разные. Ты видишь, чем они отличаются, и совершенно не представляешь чем именно и как это повторить. А главное, что тут нет ничего, никаких хитростей – только глаз фотографа. Вот это и есть настоящее волшебство».

Надо же, а я никогда и не думала, что мама так восхищается фотографией. А там на Винзаводе сейчас как раз выставка хорошая идёт, ей бы понравилось, наверное. И ведь ещё неделю назад мы могли бы вместе сходить...

«То чувство, когда впервые читаешь о приключениях Шерлока Холмса. Или впервые идёшь на концерт. Впервые смотришь the Wall.

Потом всё пытаешься развернуться, и попасть туда, где это всё было впервые, а всё не то. Смотришь, слушаешь, читаешь, но ведь уже знаешь, что будет дальше. И чем дальше живёшь, тем больше того, что ты уже где-то слышал, где-то видел и где-то читал. Нет этого ощущения новизны...

Пытаешься воскресить то чувство, но нет. Такого не испытать дважды. Кажется, что я всё помню – руки, губы, слова, но нет. Я пытаюсь вспомнить, хотя бы вспомнить, не то, чтобы заново пережить! но это невозможно так же, как нельзя вернуть вчерашний день».

Это, интересно, о чём было? Руки, губы, слова...

Я ждала пояснений, но какое там! Дальше шли мамины размышления об Антигоне. Она ходила на спектакль без меня, судя по записи, с какой-то коллегой. Губы, руки? Нет, что-то мне не верилось.

Потом шли мысли на разные профессиональные темы: у неё была клиентка, сын которой сидел за непредумышленное убийство, и ещё одна, которую мужчина бросил ради её же дочери. Мама много размышляла об этом и с психологической, и с этической точки зрения, и даже

сравнивала два этих случая. И я поняла, почему её дневник был закрыт – клиенты вряд ли бы обрадовались, если бы она обсуждала их вслух. Нечаянно набрёл бы на такое в интернете – и всё. Раскрытие профессиональной тайны, скандал и прощай репутация, прощай запись на две недели вперёд.

А вот в одном месте у меня вдруг ёкнуло сердце: запись примерно трехнедельной давности.

«Вчера пришлось отменить всех клиентов. Голова болела так, что не могла работать, и болит ведь, зараза, всегда в одном и том же месте. Вот так-то, даже страшно делается. Ощущение такое, будто внутри моего мозга лежит бомба, а я слышу, как тикает часовой механизм – там уже заведён таймер. От этого становится жутко страшно. Страх похож на медузу: холодный, склизкий, бесформенный, но с парализующим ядом.

Таблетки не помогают, темнота больше не спасает, кажется, что ещё чуть-чуть и голова просто лопнет и разлетится на маленькие осколки. Ой, мама, это даже больнее, чем рожать! Вчера голова болела семь часов. Семь часов без перерыва! Это почти полный рабочий день. Сегодня – пять. В итоге два дня просто вычеркнуты из жизни, а так ли много мне осталось? Два дня посвящены боли и лежанию на диване.

В такие дни, кажется, что смерть милосердна. Кажется, что просто умереть – это ещё не самый плохой вариант. Единственное, чего я боюсь – это выжить после инсульта. Остаться парализованной, немой, потерять работу, потерять самостоятельность и стать обузой для Вики. Хотелось бы, чтобы всё случилось быстро, и да, очень трусливо, но мне хочется ничего не почувствовать».

Мама, мама... Как же так? Почему хорошие люди должны так страдать? Она писала об этом в своём дневнике. Там было ещё много про головную боль.

Запись от 28 февраля. Три недели назад.

«Сегодня упала в обморок на улице прямо перед кабинетом. Второй обморок за месяц. Судя по всему, меня подхватил кто-то из прохожих, я даже не запачкалась. Пришла в себя быстро, но голова потом гудела и весь день была какая-то чугунная. Я помню, у мамы был такой ярко-оранжевый чугунный горшок для каши, она его так и называла – чугунок. Он был такой, как в детских книжках: снизу поуже, потом пошире и сверху опять поуже, для ухвата, чтобы ставить в печь. И он был жутко неудобный, потому что тяжелый и взять его можно было только полотенцем, если брать прихваткой – мог выскользнуть, ручек-то нет. Так вот, моя голова весь день была в точности как тот горшок: тяжелая и неподдающаяся. Я ей таблетку – а она всё равно болит».

И вот ещё раньше:

«Теперь я понимаю, почему говорят «адски» болит голова. Потому что это действительно адская боль. Абсолютно невозможно думать, контейнировать, сопереживать – жить. Я не могу чувствовать ничего, кроме этой боли, она вытесняет собой всё. Самое страшное, что и всё хорошее тоже. Ничего невозможно делать.

Вот же бывает ведь так: какой-то маленький сосудик не в порядке, совсем крошечный, а проблемы от этого гигантские. Сколько она там? Не помню. И память стала подводить, вот же ужас.. я забываю имена клиентов. Забываю назначенные встречи и забываю, что хотела купить в магазине. Это просто какой-то кошмарный сон...

Клипирование невозможно и что-то там ещё тоже невозможно. Такое вот коварное месторасположение у неё.

Поговорила со своим супервизором, пришли с ним к выводу, что это моя вина, даже – Вина, вот такая вот, вселенского масштаба. Доктор, конечно, с этим бы не согласился, у них там своих причин – не перечесать, но мне кажется – это, в самом деле, от того, что я пыталась брать на себя больше, чем могла вытянуть – я себя надорвала. Сначала надорвала, а потом сгрызла, упрекая за то, что взвалила на себя ношу, которую не вытянула.

Я пыталась быть супер-мамой, но правда в том, что я не могу быть ей и мамой, и папой одновременно. Но что я тут могла поделать? Мы выживали, как могли.

Он не был записан её отцом, Он не мог (да честно говоря, и не очень-то хотел) с ней общаться, ну, хорошо – и я тоже не слишком этого хотела, нам всем было удобно так, как оно было. Только вот я всё-таки себя чувствовала ответственной перед Викой, а потом моя ответственность росла-росла, раздувалась и превратилась в Вину.

Жаль только, что мне от этого осознания ни насколько не легче. Сейчас-то уже что? Супервизор говорит: «вы свои цели все выполнили, вас тут больше ничего не держит, поэтому вы отпустили вожжи и теперь кони понесли». Похоже на то: операция невозможна, а значит, я уже больше ничего не могу сделать для себя».

Моя бедная, бедная мамочка. Но это было ещё не всё. Я читала записи назад, от более ранних к более поздним, и тут меня ждал сюрприз за сюрпризом.

1 ноября: «До сих пор трясутся руки. Страшно. Не знаю, как сказать маме и Вике. Я больна. Я очень серьёзно больна.

Когда я ходила к неврологу, она и заподозрить не могла, что моя головная боль может иметь такую серьёзную причину. Аневризма. Это что-то вроде выпуклости у сосуда там, где её быть не должно. Раньше бывали такие дефектные воздушные шарики: в одно место у них резина тоньше, и когда надуваешь, то сбоку неожиданно вылезает какой-то пупырь. Вот это что-то вроде того.

Всё очень и очень серьёзно. Аневризма внутренней сонной артерии – её просто так не достать. Доктор предложил операцию, но... Но там слишком много «но». Мне дали время. Сказали: «думайте». В таких случаях вероятность разрыва не так уж и велика, время ещё ждёт. У меня есть примерно год, но доктора не советовали затягивать. Аневризма не маленькая, симптоматика не уйдет, скорее наоборот, будет нарастать. И аневризма будет расти.

Страшное чувство, когда ты, словно пирожок на противне, заезжаешь в печь – в развернутую пасть аппарата МРТ. У меня нет клаустрофобии, но чувство было не из приятных. Но это ещё цветочки, самый ужас – это когда ты понимаешь, что хорошего исхода нет. Просто нет. Тебе предстоит выбрать из плохого и плохого.

Итак, вариант первый – забить. Тогда это просто вопрос времени. Постепенно я превращусь в овощ, перестану нормально соображать, а аневризма рано или поздно не выдержит. Возможен инсульт, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Единственное хорошее в этом раскладе, это может произойти лет через -цать. Правда, ключевое слово – может.

Вариант второй – оперироваться. Операция будет, как выразился доктор, открытая. То есть мне распилят череп. Сделают трепанацию. Вероятность летального исхода после операции 10-15%. Это немало. То есть я могу ещё и умереть, если не на столе, под ножом, то сразу после.

Но если я не умру в первые сутки после операции, дальше всё тоже не так уж радужно. Инвалидность. Снижение когнитивных функций. Длительная реабилитация. Я никогда уже не буду прежней. Никогда не буду собой. Возможно, я не смогу работать. Когда доктор узнал, что я психолог, он покачал головой и перестал давить на необходимость оперироваться. Меня это испугало. Очень сильно испугало. Похоже, он великолепно понимает, что эта операция – крест на моей работе.

Мне очень-очень страшно. Мне нужно будет принимать решение, которое в любом случае будет плохим решением, и затягивание – это тоже выбор. Пока что я в состоянии фрустрации, но мне придётся как-то это принять. У меня аневризма. Я или скоро умру, или останусь навсегда инвалидом».

Мне стало почему-то очень холодно. Я огляделась, открыла шкаф и достала первое, что попало под руку – мамину кофту. Кофта пахла мамой. Я закуталась, и мне стало так жаль её, что я не выдержала. Мама, мамочка... Ты боялась остаться овецом. Боялась стать обузой для нас, для меня. Ты могла бы прооперироваться, и тогда был бы шанс, хоть какой-то шанс! Но ты не стала. Мама! А как мне сейчас хочется, чтобы ты была со мной. Живая. Я бы ухаживала за тобой, даже если бы мне было тяжело. Я бы хотела, чтобы ты была здорова. Как это страшно оставаться одной...

Когда я успокоилась, решила поискать что-нибудь более жизнеутверждающее. Я уже не могла больше плакать, слез не было. Хотелось найти и почитать что-то хорошее.

И я нашла. Это было наше с мамой путешествие в Париж. Я поступила в институт, и на радостях, и в подарок за это, мама решила, что нам нужно съездить во Францию. Тогда ещё не случилось этого страшного пожара в Нотр-Даме и мы поднимались на самый верх, и стояли там, глядя на солнечный город, а ветер трепал нам волосы.

Это были замечательные каникулы: мы ездили в Диснейленд, гуляли по Елисейским полям, поднимались на Эйфелеву башню, дважды ходили в Лувр, и даже съездили с экскурсией в Версаль.

И вот в том самом месте, про Версаль, мама пишет, что на секунду в толпе ей показался Он. Она так и пишет – «Он», с большой буквы. Правда, она быстро поняла, что обозналась, но дальше она рассуждает об этом, ссылается почему-то на Фрейда, и заканчивает абзац вопросом «может быть, я всё ещё люблю?»...

Я перечитала этот отрезок три раза. Кто такой «Он»? Мой отец? Это его она имела в виду? У меня из головы не шла её фраза – «встретиться он хочет». Почти двадцать лет не хотел, а теперь объявился? У меня были смешанные чувства: и злость, и любопытство, и обида, и ощущение какой-то ущербности – мне недодали. Должны были дать, а не дали. Хотелось накричать на него, но чтобы накричать, его ещё нужно было найти...

Найти. И я поняла, что если и есть ключ, способный пролить свет на её прошлое, на моё прошлое – это дневник. На двадцати страницах записей не может не быть упоминаний об отце. О Нём. А мне бы так хотелось найти его, ведь кроме бабушки у меня больше не осталось ни одного родного человека.

Найти отца. Эта мысль меня захватила. Я не могла вернуть маму, но я могла отыскать папу.

Весь день я провела дома, а вечером я забежала к бабушке. БабВера уехала, а бабВаля осталась, решили, что она уедет после девяти дней, после вторых поминок. БабВаля уже ушла в комнату спать, и мы с бабушкой сели вдвоём на кухне. Бабушка охала и причитала.

– Господи, за что? За что мне такое испытание, гоо-оос-паа-аади-иии, – и она заливалась слезами, ну и я вместе с ней.

Потом она резко встала, оттолкнув стул, и уверенным движением поставила чайник. Электрических приборов бабушка боялась. У неё был новый чайник, но он стоял в коробке на антресолях. Мама подарила ей его на какой-то Новый год, а бабушка им никогда не пользовалась. Сказала, чайник на плите – это и привычней, и уютней, и безопасней. Мы жили в старом районе, а бабушка ещё и в старом доме, и у неё был газ. И старую газовую плиту она считала безопасней электрического чайника.

– Ба, расскажи про папу, – потребовала я.

– А чё про него рассказывать? Я его видела два раза в жизни, и оба до твоего рождения. А как ты родилась, так он и вовсе не появлялся. Тьфу. Сами вырастили тебя.

– Я понимаю, но ты же видела его? Какой он?

– Да никакой, – бабушка громыхнула чайником об плиту, – что ты спрашиваешь? Не знаю я. Не помню. Глядишь, не развелась бы Сонька, может, всё бы и по-другому бы вышло...

– При чём здесь «развелась»? – опешила я.

– Борька бы её может заставил бы к врачу сходить.

– Ба, да ходила она к врачу! Ничего тут не зависело от врача...

Мне стало горько. Как она не понимает?

– Как у тебя всё просто! Ходила она к врачу... Борька бы её заставил! Другого врача бы нашли. Денег бы дали. Вылечили бы. Глядишь бы и не сгорела бы так быстро, – голос у бабушки задрожал, – моя деточка... Вот ведь... душегубы... врачи-кричи-не кричи... а, – она махнула рукой, – пустое...

Мы замолчали. Бабушка вытирала слёзы фартуком, я просто сидела. На плите стоял чайник. Сначала было тихо, а потом он начал шептать что-то на своём чайничьем. Бабушка была права: это тихое сопение и правда умиротворяло.

– Пойти что ли Вальку позвать? – спросила бабушка саму себя. Встала, но потом села. – А, она уже спит поди. Чашки достань.

Я достала чашки, блюдца, подумала, достала ещё и ложечки. Подумала, и решила зайти с другой стороны.

– Ба, а почему на похоронах никого из маминых друзей не было?

– Как не было? А Иринка? А Нюрка?

И снова холостой выстрел. Нет, не то. Я помолчала, вспоминая. У мамы все были приятельницами. С одной она познакомилась на отдыхе, с другой они вместе работали, но это всё было не то. Мне нужно было найти маминых друзей, потому что они могли рассказать мне о маме. И о папе.

– Ба, а в институте у мамы подруги были?

– Была одна. Рассорились они вроде потом.

Понятно, безрадостно подумала я.

– Ба, а подругу-то как звали?

– Каку подругу?

– Мамину. Ту с которой рассорились.

– А, так Еленой вроде звали. У неё одна подруга-то и была. Маруська вот ещё потом появилась – вместе с колясками гуляли они. А больше Сонька не приводила никого. Она с детства такая – другие дети к сверстникам тянутся, а она всегда одна играла. Сядет в песочницу и куличики лепит. Вокруг мальчишки бегают, девчонки в резиночку прыгают, а она сидит себе одна и играет, – и бабушка снова заплакала тихо-тихо, промокая глаза краешком фартука.

Я вернулась от бабушки вечером. Кто входил хоть раз в пустую тёмную квартиру – знает, как это неприятно. Я везде включила свет. В каждой комнате. Я включила радио – тишина была непереносимой. Сходила в душ, легла, но потом снова встала: спать было невозможно. Ходить в пижаме было холодно, и я закуталась в мамину кофту, ту самую, белую, что вытащила из шкафа днём, надела тёплые носки и заварила себе чай.

Шел второй час ночи, а у меня сна не было ни в одном глазу. Институт, завтра же в институт... Да, у нас всего одна лекция, но на ней обычно отмечают, а потом спрашивают конспекты у тех, кто не был. А и чёрт с ним.

Чтобы поехать в институт нужно было привести себя в порядок: накраситься или хотя бы найти чистую одежду, счистить грязь с ботинок (на кладбище было ужасно грязно), а я не

могла сделать столько всего. У меня просто не было сил. Я только то и могла, что сидеть за ноутбуком, вооружившись листом бумаги и ручкой, и читать мамин дневник.

Было что-то неправильное в том, что ни для кого из моей группы ничего не изменилось: люди всё так же ходили на пары, слушали лекции, обсуждали преподавов, презирали ботанов-всезнаек, а у меня рухнул мир. Противно. Всё это было как-то противно.

Хотелось бросить им всем в лицо, что я их ненавижу и презираю. Почему? Я не знала сама. Может быть, потому что у них ничего не изменилось. Их не тронула смерть моей мамы, никого из них, кроме бабушки и дяди Бори. Вон даже бабВера к своим уже уехала.

Я смотрела в окно: люди всё так же гуляли по улицам, ходили в магазин, в кино и в кафе, мои сокурсники слушали лекции, а я не могла. Мне даже дышать стало труднее, с тех пор, как мамы не стало. Как можно делать вид, будто ничего не произошло?

Хорошо, что фон у маминого дневника был тёмным: было легко читать его именно ночью. И ещё он попадал в моё настроение. Правда, читать оказалось тяжело: мама в целях конспирации даже в закрытом дневнике почти не упоминала имён. Я охотилась за этим таинственным мужчиной, скрывающимся под кличкой «Он», но, похоже, что были ещё и другие.

Например: «Этот не такой как Б., и не такой, каким был Он. Мы сходили в кафе на прошлой неделе, но на этом всё и кончится. Мне не хочется продолжать это знакомство, потому что ему не хочется считаться с моими границами».

И ещё: «Очередное свидание. Два часа потерянного времени. О чём можно говорить с человеком, который самым крутым фильмом считает сериал, о, я даже название забыла!, и впервые читает «Мастера и Маргариту» в сорок шесть лет?».

«Когда-то я смирилась с тем, что могу сказать о себе "десять лет назад" и попаду в сознательный возраст. Сегодня я уже говорю "двадцать лет назад", и попадаю в границу своей юности и взрослой жизни. И меня это пугает. Может, у меня просто молодость была короткая?

Радио создает иллюзию того, что мир вокруг меня неизменен: десять лет они крутят одни и те же песни, иногда разбавляя их чем-то "новеньким" на что ты неизбежно думаешь "фигня какая-то, группа-однодневка", проходит год-два и эта «фигня» и правда пропадает из эфира, а её место занимают другие такие же бабочки-однодневки, но, в целом, репертуар не меняется, и кажется, будто и ты, его слушающий, тоже не меняешься.

Ты продолжаешь считать, что где-то ещё продают гриндерсы и камелоты, что кто-то их еще носит, и ходит в походы, в которых люди сидят на брёвнышке у костра, а налобные фонари – это крутое освещение.

Ты веришь, что где-то, в ларьках и палатках, еще продают коктейли в алюминиевых банках: стрит, хуч, ягуар, а кто-то, пришедший тебе на смену, их до сих пор пьёт. Ты веришь, что Матрица – наикрутейший фильм, а нынешнее поколение о ней даже не знает! Ты думаешь, кумиры нынешней молодёжи те же, что и у тебя, но всё это – иллюзия. Нет больше того мира, где играли в эльфов и хоббитов деревянными мечами, потому что ничего другого не было; где орали под гитару "всё идет по плану", где жгли костры; где были неизвестные песни, исполнителя которых нужно было ещё искать, а музыку добывали и берегли, как огонь; где мир был настолько суров, что никому не приходило в голову ходить зимой в кедах без носков.

Радио поддерживает иллюзию, что ты можешь сказать "а вот десять лет назад" вместо двадцати.... но это только иллюзия. Тот мир с растворимым кофе, без бумажных стаканчиков на вынос, без сотовых, тот мир романтики, в котором еще было место звездному небу и совам, летающим у метро, тот мир уже мёртв.

Я бы хотела увидеть Его. Посмотреть, как Он изменился за эти годы. Вспомнить вместе с ним тот мир, которого больше никто не знает».

Моя мама была странным психологом: она проливала свет на чужую жизнь, а свою прятала в тени. Удивительно, как ей удалось всё так зашифровать, что теперь и не разберёшься. Или она это не специально? Может, это как клубок ниток: оставляешь вязание в пакете на неделю, а когда достаёшь – там сплошной колтун. У меня так было, когда я вязала на уроках труда. Смотришь на этот колтун, и отчего он образовался, вообще никому не понятно.

Мне было интересно, какой она была. Моя мама – она ведь когда-то была не моей мамой, в смысле, она была просто девушкой, которая понятия не имела, что родит именно меня. Она так же, как и я не любила философию? Нет, судя по её текстам, с философией у неё всё было нормально, это я её терпеть не могу. А Она любила танцевать? Ходила в бильярдную или в боулинг, как ходили мы с ребятами? Она пила кофе или мате? Прогуливала ли лекции? И, если да, то что делала в это время?

И я решила читать наоборот, не с конца к началу, а с начала к концу – ведь это гораздо логичней. Я щёлкнула на самую первую страницу, пролистала к самой первой записи – 2 февраля 1999 года (прошлый век, подумать только). Запись была лаконичной: «сегодня я начинаю вести дневник, посмотрим, что из этого выйдет». Потом была ещё какая-то мутная заметка о сне, которую я не поняла, описание семейного торжества, впечатления от «Матрицы» – ничего действительно интересного, но я зачиталась. Мне стало любопытно, какой была моя мама тогда, на третьем курсе. Я же правильно посчитала, в 1999 она была на третьем курсе?

11 марта 1999: «Я вот тут подумала, что в любом институте, на любом факультете среди студентов всегда есть случайные люди. Они получают образование, но потом не работают по специальности ни дня, ну, просто так получилось, что каким-то ветром их занесло туда, куда занесло: их поступили в этот ВУЗ родители, или будущая профессия виделась другой, или просто это было модное направление, как когда-то инженеры и космонавтика. Сейчас вот, стоматология в моде. Пройдёт ещё лет десять-двадцать, и стоматологов девать будет некуда.

У нас такой случайный человек был. Это, конечно, Косулин. Никому вообще не было ясно, что он тут забыл. А вот теперь оказывается, Влад: он на социологию вслед за Ленкой перевёлся. Я бы к случайным, пожалуй, ещё и Перчика бы причислила.

Я это сегодня поняла, на семинаре по подросткам. Ну такую пургу гнать это же надо было три года просто не слушать вообще ничего, уши заткнуть на три года! Я как представила, что к ней родители своих подростков приводить будут, мне аж плохо стало... А ещё она Фромма и Эриксона путает. А ведь единственное, что их связывает, это имя Эрик».

1 апреля 1999: «Идиотский день. Домовой, чтоб ему было неладно, обзвонил всех накануне и сказал, что колок по психиатрии передвинули с 12 на 8. И ведь звонил же, наглец, в первом часу ночи – знал, что никто не спит, все готовятся. И так перед мамой извинялся (это она трубку взяла), что она аж растаяла. Какой, говорит, милейший молодой человек тебе звонит, такой воспитанный, ну такой вежливый!

Позвонил, сказал, что всем надо быть к 8 утра, потому что Тошечка будет отмечать и злостно карать за опоздания (это мы, положим, и без него знали, что на психиатрию лучше умереть, но прийти). И я как дура припёрлась. Все припёрлись, кроме Домового и Тошечки. А он вообще был не в курсе! Когда его разыскали на кафедре, он так хохотал! Что, говорит, разыграли вас, дураков? Так вам и надо. Сидите и учите, до 12 время есть.

Заставили Домового отвечать последним, но этого мало. Думаем теперь, как отомстить. Тихоня тихоней, а такое выкинул...»

6 апреля 1999: «Мы с Ленкой очень отделились. Сегодня встретила её в буфете с двумя девочками, поздоровалась, и она тоже со мной, т.е. как поздоровалась, она мне кивнула и вер-

нулась к своему разговору. Не спросила как дела, как колок, не писал ли опять Один – ничего. Я знала, конечно, что так и будет, и не то, чтобы боялась этого, как-то готовилась внутренне, но всё равно это так неприятно. После того, как она перевелась на свою социологию, мы ведь с ней ещё долго общались, встречались после пар, обедали вместе, радовались, когда у нас расписание совпадало, и мы в одном здании оказывались.

Наверное, просто дело в том, что Ленка уже нашла мне замену, а я ей нет, поэтому я так ревную и переживаю».

19 апреля 1999: «Это было сильно! Лекционная аудитория, весь поток сидит и ждёт начала лекции, и тут встаёт наша Перчик со своей первой парты и обращается ко всему потоку с призывом выйти на первомайскую демонстрацию. Мол, Первомай – это день Мира и Труда, так давайте трудиться за мир во всем мире, нет бомбардировкам, долой войну и всё такое. С месяц назад, наверное, она призывала всех выйти к посольству США (и ведь ходила же туда, кричала, рассказывала потом, как кто-то свиную голову за забор кинул), а теперь вот митинг. Ну, Перчик – она такая. Не от мира сего немножко. Меня глаза её пугают: отрешенные они у неё какие-то, будто большую часть времени она не тут проводит, а где-то в параллельном мире.

И посередине её речи вваливается в аудиторию Костик Обольский из четвёртой группы. А он всегда такой, будто он опоздал уже безбожно и припёрся исключительно потому, его только-только разбудили: волосы взъерошенные, рубашка наполовину заправлена, наполовину торчит. И вот он вваливается, слышит этот призыв, и выдаёт: «Удел женщины – владычествовать, удел мужчины – царить, потому что владычествует страсть, а правит ум». Перчик оборачивается, видит этот чучело, а за ним – Поевскую в дверях, и разумно всё взвесив, понимает, садится на своё место тихонько, пока её не вышвырнули из аудитории. А он-то не видит! Заканчивает говорить, в зале тишина, естественно, гробовая, он ещё ничего не понял, думает, это ему внимают и пафосно так произносит: «Это Кант, дорогие товарищи, Иммануил Кант сказал».

Тут Поевская, известная феминистка и мужененавистница, приходит в себя, и говорит: «Ну раз Кант, тогда садитесь на место, молодой человек. И впредь извольте философствовать письменно, на коллоквиумах». И начала лекцию, как ни в чём не бывало. А этого раздолбая теперь весь факультет Кантом зовёт)))».

Остальные записи были простой болтовнёй вроде шуток Домового и мелких высказываний, превращающихся потом в прозвища. Ещё были смешные институтские истории, впечатления от походов в кино, обычные записи. Но была и ещё одна очень-очень странная. Я её не поняла.

10 октября 1999: «Зачем она мне это прислала? Я сижу, смотрю эту пошлятину и не могу понять, зачем? «Ну, просто. Чтоб ты знала» – ответила она мне. И ещё: «это мне Артур прислал». Хорошо, теперь я знаю, что дальше?

Мне вот теперь интересно, кому ещё она это переслала? Наверняка ведь, не мне одной. Да без сомнения, не мне одной!

Противно. Даже не столько противно от увиденного, сколько противно от самого поступка. Зачем? Опозорить Перца? А то ей мало от жизни досталось.

Сука. И в тоже самое время, я понимаю, что невозможно относиться к ней, как раньше. Я буду её презирать или жалеть, но моё отношение к ней УЖЕ изменилось. Этого они и добились? Это же буллинг! И что мне делать? Сказать преподу? Кому?

Промолчать и подождать, что будет дальше? А если я сейчас начну обсуждать с кем-то эту тему, пущу волну, а всё обойдётся? Какая мерзость. И так, и так – мерзость.

И что мне делать теперь с этим файлом? Поначалу я его, конечно, стёрла. Потом восстановила. Потом решила спрятать. Не знаю, зачем. Это компромат, конечно, но вопрос ещё на кого.

Всё-таки, я дура. Но я это слишком поздно поняла, нужно было сам файл удалить, а переписку нашу с ней в почте оставить».

Зазвонил телефон, перебив мои мысли, и я схватила трубку. Незнакомый номер. Сотовый. Сердце радостно заухало. Почему-то я ждала звонка только от одного человека.

– Алло!

– Вика, здравствуйте, меня зовут Артём, – это было первое разочарование, хотя голос у Артёма оказался приятным, – я риелтор и я случайно узнал, что вы собираетесь продавать квартиру.

Ощущение было как в скоростном лифте в МГУ, хотя такие лифты есть и в некоторых жилых высотках. Когда лифт останавливается, вся кровь бросается тебе в голову и на секунду закладывает уши.

– Я не продаю квартиру! И не звоните мне больше! – рявкнула я и швырнула телефон.

Руки отчего-то тряслись. Телефон завибрировал снова: тот же номер. Я сбросила звонок, пометила его как мошенников и внесла в чёрный список. И только тогда немного успокоилась. Но Артём меня немного отрезвил.

Похоже, действительно придётся переехать к бабушке, а эту квартиру сдавать. Оплата ЕПД ясно показала мне, что одной мне жить будет не на что. Стипендия у меня вообще смех, поэтому даже, если я найду подработку, мне всё равно не хватит на еду, проезд и квартплату.

Но всё равно было противно. Противно то, что я постоянно должна всем всё доказывать: доказывать свою самостоятельность, своё право жить так, как я хочу, и платить за жильё. А самое паршивое, что платить-то нечем...

Я решила, что обсужу это с бабушкой позже, вернулась к дневнику, и читала, пока меня не сморил сон.

Глава 4. Телефонная книжка.

В субботу у нас была только одна лекция, и я опять забила. Вообще должна была быть лекция и колонок, но мы его перенесли на понедельник. Я решила лежать дома и чилить, больше ничего и не хотелось. Бабушка всерьёз беспокоилась за меня. Я сама ей проговорила, а она начала меня отчитывать. Теперь уже она захотела, чтобы я к ней поскорей переехала, потому что так она будет меня контролировать.

Я впервые задумалась, откуда взялась эта квартира. Сначала мы жили у дяди Бори на Кожуховской. Там была небольшая двушка, примерно такая же, как наша, только без балкона и с совсем крошечной кухней.

Я помню, как мы переехали, я уже ходила в школу... Какой это был класс? Пятый, наверное? Или шестой? Да, это же было незадолго до их развода, точно.

Мама сама заработала на эту квартиру. Тогда мне это казалось вполне естественным, а сейчас я думаю, что она, наверное, очень много работала. У нас хороший район и дом новый, я даже не представляю, сколько может стоит двушка в Москве в кирпичном доме в пяти минутах от метро.

И, кстати, о квартире. Бабушка отдала мне мамино свидетельство о смерти. Мне теперь надо сходить в МФЦ, чтобы маму выписали из квартиры и сделали перерасчёт за воду и отопление. Решила, что пойду в понедельник.

А вчера же я ещё ходила в салон связи, отнесла мамин телефон. Экран разбит, но сам телефон-то работает – он звонит, но я не могу снять трубку и не вижу, кто звонит. Двое парней в униформе покрутили телефон в руках, внимательно выслушали мою историю, зачем-то дважды переспросили, действительно ли симка зарегистрирована не на меня, почесали в затылках и предложили сходить на радио рынок. Вот этим мне тоже предстояло заняться.

Я выпила кофе и поехала, благо у нас тут до радиорынка полчаса на метро. Ну, это я поначалу так думала, что всего полчаса, в итоге-то всё равно потратила на это полдня. Обошла там четыре точки под вывеской "ремонт телефонов", но везде разводили руками.

– Но почему так сложно заменить экран телефона! – злилась я.

– Потому что это айфон.

– Я просто этого не делаю.

– У нас нет запчастей, и вообще, не факт, что он после этого будет работать. Вы можете, конечно, в официальный сервис обратиться, но я, честно говоря, думаю, что проще новый купить.

– Слушай, я тебе другой покажу в два раза лучше!

Когда я вернулась домой злая, голодная и уставшая, мне уже ничего не хотелось. Для успокоения совести я решила поискать адрес официального сервиса, но потом меня неожиданно поразила неприятная догадка и я ввела в поисковике «сколько стоит заменить экран айфона». Когда я увидела цифру, у меня глаза на лоб полезли. Мой андроид стоил значительно дешевле, после того как у меня два раза за три месяца пропадал телефон (я так и не поняла – украли или потеряла?), мама сказала, что дорогие гаджеты мне противопоказаны. В самом деле, замена экрана стоила дороже, чем мой телефон. Проще было купить новый. При всём желании, у меня просто нет столько денег. Это больше, чем две моих стипендии.

Сначала я разозлилась, но потом мне пришла в голову простая до гениальности мысль. Я выудила из недр стола шнур и подключила телефон к ноутбуку. Он с минуту подумал, помигал лампочкой, а потом Сим-сим открылся. Передо мной лежало всё, как на ладони. Папки с рингтонами, скаченные книжки, все мамины фото, и даже, наверное, где-то были её заметки. Она всегда составляла заранее список покупок, без него в магазин не ходила. Правда, список покупок – это было последнее, что меня интересовало.

Я искала папу. Мне удалось залезть в контакты, но там не было ни одного Смирнова и ни одного Олега, который мог бы оказаться папой! Как это может быть? Получается, у неё не было его номера? Это был удар. Она не внесла его телефон в список контактов...

Жаль – это было не то слово. Мне очень хотелось ему позвонить. А как позвонить, когда нет номера? И ведь он же не знает. Не знает про маму-то... Наверное, волнуется?

Мы же засиделись с ней на кухне допоздна, а потом она пошла на работу. Она просто не успела сохранить его номер, он остался безымянным в журнале вызовов... Может быть, ей даже это было и не нужно, вдруг она помнила папин номер наизусть? Да, нет, вряд ли. Откуда она могла его знать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.